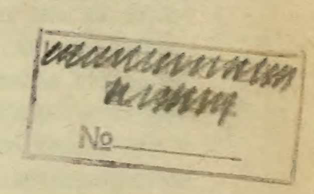


Г. В. ПЛЕХАНОВ

СТАТЬИ
О
Л. ТОЛСТОМ

С предисловием
В. ВАГАНЯНА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА.

Гиз. № 19.025. Тираж 10.000 экз.

Типогр. „Красный Пролетарий", Изд-ва „Красная Новь", Пименовская ул., д. 1/16.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Л. Н. Толстой не принадлежал к числу тех писателей, о которых Г. В. Плеханов писал охотно.

И это совершенно понятно: Л. Н. Толстой идеалист, метафизик чистейшей воды, глубоко религиозный человек—составлял прямую противоположность ему—революционеру, последовательному материалисту и атеисту.

Но после смерти Л. Н. Толстого обнаружилось, что в марксистском лагере по этому вопросу нет далеко того единодушия, какое можно было предполагать. Оппортунисты-ликвидаторы из журнала «Наша Заря» развивали мысли, которые ни один революционный марксист не мог считать приемлемыми: «Интимная связь наша с Толстым,—писал Неведомский,—усугубляется, конечно, всем чисто-русским пошибом его умонастроения и, между прочим, той смесью идеализма, с той горячей жаждой немедленного воплощения жизненностью теоретических выводов, которая естественно соблазняет жителей страны, где строительство жизни еще так отстало, находится на такой бесчеловечно-низкой ступени. Сочетание крайнего идеализма с реализмом, столь характерное для Толстого сочетание, привлекает нас вовсе не как противоположность или антитеза нашему настроению, а как нечто родное—*свое* [1]).

...«Великий, «кающийся дворянин» дошел в своем покаянии до той абсолютной глубины, где нашлись точки соприкосновения с душой трудящейся массы, и, действительно, обрел пути к народному сердцу». Известно давно, что юбилейная

---

[1]) «Наша Заря», № 10, за 1910 г., стр. 10

литература и литература «в память» отличается тем, что всегда точность приносится в жертву чувствительности, но такая степень чувствительности для марксиста была чрезмерна, я уже не говорю о статье В. Базарова в этом же номере «Нашей Зари», с «отдельными положениями» которой не могла согласиться даже ликвидаторская «Наша Заря».

Не меньше неразборчивости и «юбилейного умиления» обнаруживали и другие легальные марксистские журналы. Даже «Современный мир», в ту пору представлявший ортодоксальный марксизм, не устоял перед великим соблазном.

Это обстоятельство и вынудило Плеханова и Ленина выступить с изложением точки зрения революционного марксизма на учение «великого старца».

Толстой и революция—вот вопрос, который интересует Плеханова во всех его статьях. В какой мере Толстой принял революцию, и, в свою очередь, революция (понимая под этим партию революции) может принять его? По терминологии тех дней: приемлем ли Толстой в целом, как он есть, или лишь Толстой «отсюда и досюда» (как он и назвал одну из приводимых здесь своих статей)?

Само собою разумеется, для марксиста, для революционера и социал-демократа могло быть только одно решение, то самое, к которому приходит Г. В. Плеханов:—«Толстой гениальный художник и крайне слабый мыслитель».

Но почему формула «отсюда и досюда» так смущала российских марксистов? Потому, что это была одновременно формула, характеризующая отношение к Толстому охранителей, реакционеров и мистиковехистов. Но в том-то и дело, что «отсюда и досюда» не только не стушевывало особенности социал-демократической позиции, но как раз наоборот, только она и противопоставляла контр-революции вехистов—ярко революционную позицию марксистов.

На самом деле, что считали вехисты приемлемым из идейного наследства Толстого? Его религиозную философию и его непротивление злу насилием, обращая последнее всецело против революции. Вехисты не были неправы, они имели

большие основания быть довольными этой стороной мировоззрения Толстого, ибо он, на самом деле, неоднократно высказывался против революционных методов, против борьбы и, в частности, специально против борьбы классов. Толстой, как мыслитель, принципиально был против марксизма с его борьбой классов, насильственной революцией, диктатурой пролетариата и т. д., и т. д.

Марксистское «отсюда и досюда» было направлено, прежде всего, против этой стороны учения Толстого, или вернее было бы сказать вслед за Плехановым,—против Толстого-мыслителя.

Приемлющие же Толстого в целом, всего Толстого, стушевывали эту сторону вопроса, сводя свое отношение к «великому старцу» на отношение народнически-радикальствующей интеллигенции.

Как видит читатель, совсем не случайно ликвидаторы оказались главными глашатаями этой идеи в марксизме—это было частичным выявлением их принципиального отхода от марксизма, от революции.

Мы не думаем, чтобы было целесообразно в предисловии подробно развить эту идею—все статьи Плеханова в конце концов ставят себе задачей доказать именно эти два положения: Толстой и Маркс—носители диаметрально противоположного принципа—во-первых, и во-вторых, что ликвидаторы, которые не понимали этого положения, ушли от марксизма так далеко, что трудно было провести грань между ними и простыми либеральными говорунами.

И по сей день эти статьи не потеряли значения живой актуальности, а для современного читателя понимание истин, доказываемых Плехановым, значительно облегчила наша великая революция.

Статьи, вошедшие в настоящий сборник, перепечатаны из следующих газет и журналов: «Отсюда и досюда» — «Звезда», № 1, от 16 декабря 1910 г., «Еще о Толстом», там же № 11, от 26 февраля 1911 г. №№ 12, 13, 14 «Смешение представлений»—«Мысль», № 1,

декабрь 1910 г. и № 2; «Карл Маркс и Лев Толстой»— «Социал-Демократ», Ц. О. Р. С.-Д. Р. П. № 19—20 от 13 января 1911 года.

Два отрывка, которые мы приводим после означенных статей в виде приложения, взяты: один из статьи «Еще о религии» (сборник его статей «От обороны к нападению») и другой из его первого «Письма без адреса», которое было помещено в «Научном обозрении».

Нам казались эти два фрагмента важными, ибо они в нескольких критических замечаниях дают материал для правильной оценки учения Толстого о религии и отношения его к искусству. Мы тем более считали нужным привести их, что второй отрывок был пропущен Плехановым при перепечатке первого «Письма без адреса» в своем сборнике «За 20 лет» и, следовательно, массовому читателю наших дней был неизвестен.

Статьи печатаются в порядке их появления.

В. Ваганян.

ЗАМЕТКИ ПУБЛИЦИСТА.

„Отсюда и досюда" [1]).

I.

В № 311 «Киевской Мысли» г. Homunculus возвестил, что вся Россия разделилась на два лагеря: «Одни просто любят Толстого; другие отсюда и досюда». У г. Homunculus'а вышло при этом, что люди более или менее передового образа мысли просто любят Толстого; между тем как охранители и реакционеры любят его лишь «отсюда и досюда». Я не принадлежу ни к реакционерам, ни к охранителям. Этому, надеюсь, поверит г. Homunculus. И, тем не менее, я тоже не могу «просто любить Толстого»; я тоже люблю его только «отсюда и досюда». Я считаю его гениальным художником и крайне слабым мыслителем. Больше того: я полагаю, что лишь при полном непонимании взглядов Толстого можно утверждать, как это делает г. Володин в той же «Киевской Мысли» (№ 310): «С Толстым радостно. Без Толстого страшно жить». По-моему, как раз наоборот: «жить с Толстым» так же страшно, как «жить», например, с Шопенгауэром. А если этого не замечает, в «простоте» любви своей к Толстому, нынешняя наша «интеллигенция», то мне кажется, что это—очень плохой знак. Прежде, скажем, в эпоху покойного Н. Михайловского, Толстого любили передовые русские люди именно только «отсюда и досюда». И это было гораздо лучше.

---

1) „Звезда" № 1, от 16 дек. 1910 г.

Я знаю, с этим согласятся теперь лишь очень немногие. Но что же делать? Если бы против меня высказались даже все передовые «интеллигенты» нынешней России, то я все-таки не мог бы думать иначе. Пусть меня объявят еретиком. Это не беда. Еще Лессинг вполне справедливо заметил: «Вещь, называемая еретиком, имеет свою очень хорошую сторону. Еретик, это—человек, который, по крайней мере, хочет смотреть своими собственными глазами». Конечно, еще не достаточно быть еретиком, чтобы ясно видеть. Тот же Лессинг не менее справедливо прибавляет: «Спрашивается только, хороши ли те глаза, которыми хочет смотреть еретик». С еретиком можно, а иногда даже должно спорить. Это так. Но все-таки не мешает иногда выслушать еретика. Это тоже не подлежит сомнению.

Вот я и предлагаю поспорить со мною, например, г. Володину. Он говорит: «с Толстым радостно». А я возражаю: «нет, с Толстым страшно». Кто же прав? Об этом пусть судит читатель, которому я постараюсь разъяснить свой взгляд.

Само собою разумеется, что, говоря: «с Толстым страшно», я имею в виду Толстого-мыслителя, а не Толстого-художника. С Толстым-художником тоже, может быть, страшно, но только не мне и, вообще, не людям моего образа мыслей; нам с ним, напротив, очень «радостно». А вот с Толстым-мыслителем нам, действительно, страшно. То-есть, чтобы выразиться точнее, было бы страшно, если бы мы могли «жить» с Толстым-мыслителем. К счастью, об этом не может быть и речи: наша точка зрения прямо противоположна точке зрения Толстого.

Толстой говорит о себе: «Я пришел, ведь, к вере потому, что помимо веры я ничего, наверное ничего не имею, не нашел, кроме погибели»[1].

Тут, как видите, заключается весьма серьезный довод в мою пользу. Человек, который проникся бы настроением Толстого, сильно рисковал бы не найти перед собой ни-

[1]) Л. Н. Толстой, «Исповедь», изд. Парамонова, стр. 55.

чего, кроме погибели. А это, в самом деле, страшно. Правда, Толстой спасся от погибели верой. А в каком положении окажется человек, который, проникшись настроением Толстого, останется неудовлетворенным его верой! У такого человека будет только один выход: погибель, в которой, как это всем известно, нет ничего «радостного».

Каков был тот путь, который привел Толстого к его вере? По словам самого Толстого, он пришел к вере путем искания бога. И это искание бога было,—говорит он,—«не рассуждение, но чувство, потому что это искание вытекло не из моего хода мыслей,—оно было даже прямо противоположно им,—но оно вытекало из сердца» [1]). Однако Толстой выражается неточно. На самом деле его искание бога вовсе не исключало рассуждения. Это доказывается, между прочим, следующими строками:

«Помню, это было раннею весной, я один был в лесу, прислушиваясь к звукам леса. Я прислушался и думал все об одном, как я постоянно думал все об одном и том же эти последние три года. Я опять искал Бога».

«Хорошо, нет никакого Бога,—говорил я себе,—нет такого, который бы был не мое представление, но действительность, такая же, как вся моя жизнь,—нет такого. И ничто, никакие чудеса не могут доказать такого, потому что чудеса будут мое представление, да еще неразумное».

«Но понятие мое о Боге, о том, которого я ищу?—спросил я себя.—Понятие то это откуда взялось?» И опять при этой мысли во мне поднялись радостные волны жизни. Все вокруг меня ожило, получило смысл. Но радость моя продолжалась недолго. Ум продолжал свою работу. «Понятие Бога,—не Бог,—сказал я себе.—Понятие есть то, что происходит во мне, понятие о Боге есть то, что я могу возбудить и могу не возбудить в себе. Это не то, чего я ищу. Я ищу того, без чего бы не могла быть жизнь». И опять все стало умирать вокруг меня и во мне, и мне опять захотелось убить себя» [2]).

---

[1]) Там же, стр. 46.
[2]) Там же, стр. 48.

Это целый диспут с самим собой. Ну, а в диспуте нельзя обойтись без рассуждения. Не обошелся без него Толстой и там, где его мучительный спор с самим собою склонился к отрадному для него выводу:

«Что же такое эти оживления и умирания? Ведь я не живу, когда теряю веру в существование Бога, ведь, я бы уж давно убил себя, если бы у меня не было смутной надежды найти его. Ведь я живу, истинно живу только тогда, когда чувствую его и ищу его. Так чего же я ищу?—вскрикнул во мне голос.—Так вот он. Он то, без чего нельзя жить. Знать Бога и жить—одно и то же. Бог есть жизнь» [1]).

Но, конечно, не одно рассуждение привело Толстого к его вере. Его логические операции, бесспорно, совершались на основе сильного и неотвязного чувства, которое он сам характеризует следующими словами: «Это было чувство страха, сиротливости, одиночества среди всего чужого и надежды на чью-то помощь» [2]).

Только это чувство и объясняет нам, каким образом Толстой мог не заметить слабой стороны своего рассуждения. В самом деле. Из того, что я живу только тогда, когда верю в существование бога, еще не следует, что бог существует: из этого следует только то, что я сам не могу существовать без веры в бога. А это обстоятельство может быть объяснено воспитанием, привычками и т. п. Толстой сам говорит:

«И странно, что та сила жизни, которая возвратилась ко мне, была не новая, а самая старая,—та самая, которая влекла меня на первых порах моей жизни. Я вернулся во всем к самому прежнему, детскому и юношескому. Я вернулся к вере в ту волю, которая произвела меня и чего-то хочет от меня; я вернулся к тому, что главная и единственная цель моей жизни есть то, чтобы быть лучше, т.-е. жить согласнее с этой волей; я вернулся к тому, что выражение этой воли я могу найти в

[1]) Там же, та же стр.

[2]) Там же, стр. 46.

том, что в скрывающейся для меня дали выработало для руководства своего все человечество, т.-е. я вернулся к вере в Бога, в нравственное совершенствование и в предание, передававшее смысл жизни. Только та и была разница, что тогда все было принято бессознательно, теперь же я знал, что без этого я не могу жить» [1]).

Толстой напрасно считает странным то обстоятельство, что возвратившаяся к нему сила жизни «была не новая, а самая старая»—детская вера. Странного тут ничего нет. Люди нередко возвращаются к своим детским верованиям; для этого необходимо только одно условие,—сильный след, оставленный в душе такими верованиями. Столь же напрасно Толстой говорит о себе:

«Судя по некоторым воспоминаниям, я никогда и не верил серьезно, а имел только доверие к тому, чему учили, и тому, что исповедывали передо мной большие; но доверие это было очень шатко» [2]).

Нет, память изменила Толстому. По всему видно, что детские верования чрезвычайно глубоко проникли в его душу [3]), и если он, по своей впечатлительности, легко поддался потом влиянию неверующих товарищей, то влияние это осталось крайне поверхностным [4]). Впрочем, в другом месте своей «Исповеди» Толстой сам говорит, что христианские истины всегда были близки ему [5]). Это несомненно, по крайней мере, в том ограниченном смысле, что Толстому всегда была близка основа не только христианского, но и всякого вообще религиозного миросозер-

---

[1]) Там же, стр. 49.

[2]) Там же, стр. 3.

[3]) «Воспитанный в патриархально-аристократической и по-своему религиозной среде, - рассказывает биограф Толстого г. П. Бирюков,— Лев Николаевич в детстве своем был религиозен» (Л. Н. Толстой. Биография. Составил П. Бирюков. Том I. Стр. 110).

[4]) Г. П. Бирюкову это представляется так: «Но, конечно, эта рационалистическая критика не могла тронуть основ души его. Эти основы выдержали страшные житейские бури и вывели его на истинный путь» (Там же, стр. 111).

[5]) «Исповедь», стр. 41.

цания: анимистический взгляд на отношение «конечного» к «бесконечному». Вот чрезвычайно убедительный пример. Мы уже знаем, что, начав искать бога, Толстой переживал тяжелые страдания в те минуты, когда его рассудок отвергал, одно за другим, известные ему доказательства бытия божия. Тогда он чувствовал, что жизнь его «останавливается», и тогда он снова и снова принимался доказывать себе, что бог существует. Как же доказывать? А вот как:

«Но опять и опять, с разных других сторон, я приходил к тому же признанию, что не мог же я без всякого повода, причины и смысла, явиться на свет, что не могу я быть таким выпавшим из гнезда птенцом, каким я себя чувствовал. Пускай я, выпавший птенец, лежу на спине, пищу в высокой траве, но я пищу от того, что знаю, что меня в себе выносила мать, высиживала, грела, кормила, любила. Где она, эта мать? Если забросили меня, то кто же забросил? Не могу я скрыть от себя, что любя родил меня кто-то. Кто же этот кто-то? Опять—Бог?» [1]).

Так рассуждают все религиозные люди, совершенно независимо от того, верят ли они в одного бога, или же в нескольких. Главная отличительная черта подобного рассуждения состоит в его полнейшей логической несостоятельности: оно предполагает доказанным именно то, что требуется доказать, — существование бога. Раз признав существование бога и раз представив себе бога по своему собственному образу и подобию, человек затем уже без всякого труда объясняет все явления природы и общественной жизни. Еще Спиноза очень хорошо сказал: «Люди обыкновенно предполагают, что все вещи в природе, подобно им самим, действуют для какой-нибудь цели, и даже за верное утверждают, что и сам Бог направляет все к известной определенной цели (ибо они говорят, что Бог сотворил все для человека, а человека сотворил для того, чтобы почитал его)». Это

[1]) Там же, стр. 47.

как раз то, что предполагается у Толстого: телеология (точка зрения целесообразности). Бесполезно было бы распространяться о том, что объяснения, до которых доходят люди, стоящие на телеологической точке зрения, на самом деле ровно ничего не объясняют и, как карточные домики, разлетаются от первого прикосновения серьезной критики. Но необходимо отметить, что Толстой не мог или не хотел понять этого. Жизнь представлялась ему возможной только тогда, когда он становился на телеологическую точку зрения: «Как только я сознавал,—говорит он,—что есть сила, во власти которой я нахожусь, так тотчас же я чувствовал возможность жизни» [1]). Понятно почему: смысл жизни определялся в этом случае волею того существа, во власть которого отдавал себя Толстой. Оставалось слушаться и не рассуждать. Толстой так и говорит:

«Жизнь мира совершается по чьей-то воле—кто-то этою жизнью всего мира и нашими жизнями делает свое какое-то дело. Чтобы иметь надежду понять смысл этой воли, надо прежде всего исполнить ее, делать то, чего от нас хотят. А если я не буду делать то, чего хотят от меня, то и не пойму никогда того, чего хотят от меня, а уж тем менее, чего хотят от всех нас и от всего мира» [2]).

II.

Чего же хочет от всех нас и от всего мира «чья-то воля»? Толстой отвечает: «Воля... пославшего есть разумная (добрая) жизнь всего мира. Стало быть, дело жизни есть внесение истины в мир» [3]). Иначе сказать, «чья-то воля» требует от нас служения добру и истине. Еще иначе: «чья-то воля» является для нас единственным источником истины и добра. Толстой думает, что если бы не было «чьей-то воли», направляющей людей к добру и

[1]) Там же, стр. 47.
[2]) Спиноза, «Этика», стр. 44.
[3]) «Исповедь», стр. 47.

истине, то они погрязли бы в зле и заблуждении. Это то, что у Фейербаха называется опустошением человеческой души. Все, что есть в ней хорошего, отнимается от него и записывается на счет «чьей-то воли», создавшей человека, равно как и весь остальной мир. Толстой совершенно опустошает человеческую душу, говоря, что «все доброе, что есть в человеке,—только то, что в нем божеского». Вот я и спрашиваю г.г. Homunculus'a, Володина и всех тех, которые разделяют их взгляд на Толстого, неужели не «страшно жить» с человеком, предающимся подобному опустошению человеческой души? И я буду утверждать, что очень страшно, до тех пор, пока мне не докажут противного.

Впрочем, я неверно выразился, сказав, что Толстой п р е д а в а л с я опустошению человеческой души. Чтобы выразиться точнее, надо сказать так: Толстой предпочитал человеческую душу пустою и старался наполнить ее добрым содержанием. Не находя источника в ней самой, он апеллировал к «чьей-то воле». Как же возникло это постоянно встречающееся у него предположение о пустоте человеческой души?

Ставя этот вопрос, я прошу читателя вспомнить сказанное мною выше о том, что Толстой пришел к вере путем известного р а с с у ж д е н и я, поддержанного известным ч у в с т в о м. Р а с с у д о ч н а я сторона этого процесса теперь уже достаточно ясна для нас. Легко понять, что, усвоив себе точку зрения телеологии, человек поступил бы непоследовательно, если бы продолжал смотреть на себя, как на самостоятельный источник нравственности. Но мы уже знаем, что рассуждение, приводящее к телеологии, не выдерживает серьезной критики. Что же мешало Толстому заметить слабую сторону этого рассуждения? Я отчасти уже ответил и на этот вопрос, сказав, что детские верования глубоко залегли в душе Толстого. Теперь мне хочется взглянуть на дело с другой стороны. Мне хочется определить, как создалось то н а с т р о е н и е Толстого, благодаря которому он ухватился за детские верования как за единственный якорь спасения, закрыв глаза

на их неосновательность. Тут я опять обращусь к его «Исповеди».

Рассказав, каким образом он остался в стороне от идейного движения 60-х годов, и каким образом жизнь его сосредоточилась «в семье, в жене и в детях, и потому в заботах об улучшении средств к жизни», Толстой сообщает, что на него стали находить тяжелые минуты уныния и недоумения. «Среди моих мыслей о хозяйстве, которые очень меня занимали в то время,—говорит он,—мне вдруг приходил в голову вопрос: «Ну, хорошо, у тебя будет 6.000 десятин, в Самарской губернии—300 голов лошадей, а потом?»... И я совершенно опешивал и не знал, что думать дальше. Или, начиная думать о том, как я воспитаю детей, я говорил себе: «Зачем?». Или, рассуждая о том, как народ может достигнуть благосостояния, я вдруг говорил себе: «А мне что за дело?». Или, думая о той славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил себе: «Ну, хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире,—ну, и что ж?»... И я ничего не мог ответить» [1]).

Что же мы видим? Забота о личном счастье не удовлетворяет Толстого, забота о народном благосостоянии совсем не увлекает его («а мне что за дело?»). Получается душевная пустота, в самом деле устраняющая всякую возможность жизни. Нужно во что бы то ни стало наполнить ее. Но чем? Или заботой о личном благосостоянии, или заботой о благосостоянии народа, или, наконец, и той, и другой вместе. Но мы видели, что забота о личном благосостоянии не удовлетворяла Толстого, забота о благосостоянии народа не увлекала его; поэтому и из

---

[1]) Там же, стр. 45.—В другом месте он выражается еще решительнее: «Важно то, чтобы признать Бога хозяином и знать, чего от меня требует, а что он сам такое, и как он живет, я никогда не узнаю, потому что я ему не пара. Я работник,—он хозяин» («Спелые Колосья». Сборник мыслей и афоризмов, извлеченных из частной переписки Л. Н. Толстого. Составил с разрешения автора Д. Р. Кудрявцев. Стр. 114).

сочетания этих двух забот ничего не могло выйти, кроме нуля. А это значит, что ни в личной, ни в общественной жизни не было ничего такого, что могло бы заполнить мучившую нашего великого художника душевную пустоту. Поневоле ему пришлось повернуться от земли к небу, т.-е. искать «в чьей-то «чужой» воле», необходимого ответа на вопрос: «зачем я живу?». В этом и заключается разгадка того, что Толстой не заметил несостоятельности своих детских верований. Точка зрения телеологии оказалась неизбежной в его положении. Он не сам опустошил свою душу; ее опустошила окружавшая его обстановка. А когда он почувствовал ее пустоту и захотел заполнить ее каким-нибудь содержанием, то по указанной причине он не мог найти другого содержания, кроме того, которое шло сверху, диктовалось «чьей-то волей». В этом все дело.

«Радостно» ли жить с человеком, который ни в личной, ни в общественной жизни не находит ничего способного захватить и увлечь его? Не только не «радостно», а прямо «страшно». Да, ведь, и ему самому жить было именно страшно, а не радостно. Радостно было жить с теми современниками Толстого, которые говорили себе словами известной некрасовской песни:

Доля народа,
Счастье его,
Свет и свобода
Прежде всего.

Но Толстой был настроен совершенно иначе. Мысль о народном счастье и о народной доле не имела над ним силы; ее отгонял равнодушный вопрос: «а мне что за дело?». Вот почему он был и остался в стороне от нашего освободительного движения. И вот почему люди, сочувствующие этому движению, не понимают или самих себя, или Толстого, когда называют его «учителем жизни». Беда Толстого в том и заключалась, что он не мог учить жизни ни себя, ни других.

Толстой был и до конца жизни остался большим бари-

ном. Прежде этот большой барин спокойно пользовался теми жизненными благами, которые доставляло ему его привилегированное положение. Потом, — и в этом сказалось влияние на него людей, думавших о счастье народа и о доле его, — он пришел к тому убеждению, что эксплоатация народа, служащая источником этих благ, безнравственна. И он решил, что «чья-то воля», давшая ему жизнь, запрещает ему эксплоатировать народ. Но ему не пришло в голову, что недостаточно самому воздерживаться от эксплоатации народа, а нужно содействовать созданию таких общественных отношений, при которых исчезло бы деление общества на классы, а следовательно, и эксплоатация одного класса другим. Его учение о нравственности осталось чисто-отрицательным: «Не сердись. Не блуди. Не клянись. Не воюй. Вот в чем для меня сущность учения Христа» [1]). И эта отрицательная нравственность была в своей односторонности, несравненно ниже того положительного нравственного учения, которое выработалось среди людей, «прежде всего» ставящих «счастье народа» и «долю его». А если теперь даже эти люди готовы видеть в Толстом своего учителя и свою совесть, то для этого есть только одно объяснение: тяжелая жизненная обстановка покачнула в них веру в самих себя и в свое собственное учение. Разумеется, очень жаль, что так случилось. Но будем надеяться, что скоро опять будет иначе. В самом увлечении Толстым слышится очень явственный намек на это. Я думаю, что чем больше будет крепнуть это увлечение, тем ближе будет от нас та минута, когда люди, не довольствующиеся отрицательной нравственностью, увидят, что их учителем нравственности Толстой быть не может. Это представляется парадоксом, но это действительно так.

Мне скажут: однако смерть Толстого взволновала весь цивилизованный мир. Я отвечу: да, но посмотрите, например, на Западную Европу и вы сами увидите, кто «просто любит» там Толстого, и кто любит его «отсюда

[1]) «Спелые Колосья», стр. 216.

и досюда». «Просто любят» его (с большей или меньшей степенью искренности и интенсивности) идеологи высших классов, т.-е. те, которые сами готовы удовольствоваться отрицательной нравственностью и которые, не имея широких общественных интересов, стремятся наполнить свою душевную пустоту разными религиозными исканиями. А «отсюда и досюда» любят Толстого те сознательные представители трудящегося населения, которые не довольствуются отрицательной нравственностью, и которые не имеют никакой нужды мучительно доискиваться смысла своей жизни, так как они давно уже «радостно» нашли его в движении к великой общественной цели.

А «откуда» и «докуда» именно любят Толстого люди этого второго разряда?

На это легко ответить. Люди этого второго разряда ценят в Толстом такого писателя, который хотя и не понял борьбы за переустройство общественных отношений, оставшись к ней совершенно равнодушным, глубоко почувствовал, однако, неудовлетворительность нынешнего общественного строя. А главное—они ценят в нем такого писателя, который воспользовался своим огромным художественным талантом для того, чтобы наглядно, хотя, правда, только эпизодически, изобразить эту неудовлетворительность.

Вот «откуда» и вот «докуда» любят Толстого действительно передовые люди нашего времени.

СМЕШЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ [1]).

(Учение Л. Н. Толстого.)

I.

Теперь очень много толкуют о Толстом. Но чем больше толкуют о нем, тем больше затемняют, хотя, разумеется, и невольно, истинный смысл его доктрины. Можно сказать, не опасаясь преувеличения, что о Толстом уже наговорено значительно больше вздора, чем о каком бы то ни было другом писателе. Не мешает поэтому хорошенько припомнить, чему, собственно, учил Толстой.

Он думал, что его учение есть не что иное, как правильно понятое учение Христа, выражающееся в словах: «Не противьтесь злу». В книге «В чем моя вера?»—он говорит: «Слова эти: не противьтесь злу, или злому, понятые в их прямом значении,—были для меня истинно ключем, открывшим мне все. И мне стало удивительно, как я мог так навыворот понимать ясные, определенные слова. Вам сказано: зуб за зуб, а я говорю: не противься злу или злому, и что бы с тобой ни сделали злые, терпи, отдавай, но не противься злу или злым. Что может быть яснее, понятнее и несомненнее этого? И стоило мне понять эти слова просто и прямо, как они сказаны, и тотчас же во всем учении Христа, не только в нагорной проповеди, но во всех Евангелиях, все, что было запутано, стало понятно, что было противоречиво, стало согласно; и главное, что казалось излишне, стало необходимо. Все слилось в одно

[1]) «Мысль» № 1, декабрь 1910 г. и № 2, январь 1911 г.

целое и несомненно подтверждало одно другое, как куски разбитой статуи, составленные так, как они должны быть»[1]).

Толстого думали смутить, спрашивая его: а что вы стали бы делать, если бы пришли Зулу и захотели изжарить ваших детей[2]). Но он не смущался:

«Все люди братья,—отвечал он,—все одинакие. И если пришли Зулу, чтобы изжарить моих детей, то одно, что я могу сделать, это постараться внушить Зулу, что это ему невыгодно и нехорошо,—внушить, покоряясь ему по силе. Тем более, что мне нет расчета с Зулу бороться. Или он одолеет меня и еще более детей моих изжарит, или я одолею его и дети мои завтра заболеют и в мучениях худших умрут от болезни»[3]).

Тут много неясного и даже прямо удивительного, по крайней мере, на первый взгляд. Больше всего поражает ссылка на то, что, если я вырву своих детей из рук кровожадного «Зулу», то они завтра умрут от болезни. Невольно возникает вопрос: неужели это случится с ними за грехи родителя? Но мы сейчас увидим, что это не так странно, как представляется сначала. Далее остается неясным, как надо понимать слова Толстого о том, что «Зулу» еще более изжарит моих детей, если я стану ему сопротивляться: значит ли это, что вместо двух ребят, он изжарит, например, четырех, или что то же число детей подвергнется более продолжительному действию огня, или еще что-нибудь другое? Наконец, в данном случае, трудно согласиться и с тем, что «все люди одинакие». Это как для кого! Для того, кого собираются посадить на вертел, людоед совсем не одинаков с человеком, воздерживающимся от употребления в пищу человеческого мяса. Но я не хочу спорить с Толстым. Да и

[1]) Л. Н. Толстой, «В чем моя вера?», 1909, стр. 14.

[2]) Человек, поставивший ему этот вопрос, как видно, считал зулусов людоедами. Это ошибка, на которой здесь останавливаться, однако, не стоит.

[3]) «Спелые Колосья». Сборник мыслей и афоризмов, извлеченных из частной переписки Л. Н. Толстого, составил с разрешения автора Д. Кудрявцев. 1896, стр. 220.

нет мне «расчета» с ним спорить: у него так много противоречий, что все равно за всеми не угоняешься. Лучше определить, почему его учение так богато противоречиями. А для этого нужно понять его внутреннюю природу.

Вернемся к «непротивлению злу». Только что рассмотренный нами пример зулуса, пожирающего детей, достаточно выразителен. Не менее выразителен и следующий пример.

На вопрос: «Если на моих глазах мать засекает своего ребенка, что мне делать?» — Толстой отвечает: — «Одно, — поставить себя на место ребенка» [1]).

Кто думает, что дальше итти в этом направлении нельзя, тот ошибается: Толстой идет еще дальше. Он думает, что человек, на которого напала бешеная собака, поступит хорошо, если не будет ей сопротивляться. Это кажется невероятным. Поэтому я предоставляю слово самому Толстому:

«Мне следует помнить, что лучше, чтобы любимый мною человек теперь же, при мне умер от того, что он не хотел лишить жизни хотя бы бешеную собаку, чем то, чтобы он умер от объядения через много лет и пережил меня» [2]).

Сомнения нет. Не следует лишать жизни «хотя бы бешеную собаку», хотя бы для спасения жизни человека. И вот возникает вопрос: если убийство бешеной собаки человеком зло, то почему же не зло убийство человека бешеной собакой? А если это тоже зло, то интересно знать, какое же из этих двух зол — меньшее. А если я знаю, какое из них меньшее, то непонятно, почему я не должен предпочесть его большему. И, кажется, всякий здравомыслящий человек должен сказать: из двух зол непременно следует выбирать меньшее. Смерть бешеной собаки есть несравненно меньшее зло, чем смерть человека; поэтому лучше убить собаку, чем пожертвовать челове-

---

[1]) «Спелые Колосья», стр. 210. См. также брошюру «О борьбе со злом посредством непротивления» и многие места в книге «В чем моя вера?».

[2]) «Спелые Колосья», стр. 40.

ком. Однако с точки зрения Толстого дело представляется в ином виде.

Для его понимания полезно заметить, что рассуждению о бешеной собаке у него предшествуют следующие слова: «На известной ступени духовного развития человеку следует воздерживаться от усиления в себе чувства личной жалости к другому существу. Чувство это само по себе животное, и у чуткого человека оно всегда проявляется в достаточной силе без искусственного разжигания. Поощрять в себе следует сострадание духовное. Душа любимого человека всегда должна быть для меня дороже тела» [1]).

Заметьте это противопоставление «животной» жалости «состраданию духовному», «тела»—«душе». Им объясняется, почему Толстой думает, что бешеной собаки не следует убивать даже и тогда, когда от этого зависит спасение человеческой жизни и почему не следовало бы сопротивляться «Зулу» даже и в том случае, если бы сопротивление могло спасти «моих детей». Неприятно быть съеденным «Зулу», и неприятно быть искусанным бешеной собакой. Но это неприятности чисто телесные; им не следует придавать большое значение. Сегодня вас спасли от бешеной собаки, а «через много лет» вы умрете от объядения; сегодня моих детей вырвали из рук кровожадного «Зулу», а завтра их унесет какая-нибудь эпидемия. Не следует усиливать в себе чувство жалости к телу—душа дороже тела. А душа не может помириться с насилием, хотя бы оно совершалось ради самых очевидных интересов тела.

Не подумайте, что Толстой равнодушно говорит только о чужих страданиях. Нет, он и на свои собственные страдания смотрит,—по крайней мере хочет смотреть,— с неменьшим равнодушием. Он говорит: «Ну—болит зуб или живот, или найдет грусть и болит сердце. Ну, и пускай болит, а мне что за дело. Либо поболит и пройдет, либо так и умру от этой боли. Ни в том, ни в

---

1) Там же, стр. 39—40.

другом случае нет ничего дурного» [1]). Это не эгоизм, а просто пренебрежение «телом» во имя «духа». Такое пренебрежение было когда-то свойственно христианам. И с этой стороны учение Толстого в самом деле имеет много общего с христианским.

В другом месте он говорит: «Надо заменять мирское, временное, вечным—это путь жизни и по нем-то надо итти нам» [2]). Тут противопоставление мирского и временного вечному имеет у него тот же самый смысл, как и вышеуказанное противопоставление интересов тела интересам духа. Признайте его теоретическую и практическую правомерность, и вы сами должны будете согласиться, что его отношение к «Зулу» совершенно правильно. Ведь важно только вечное, а «Зулу» не вечен: причиняемые им страдания только временные. То же и с розгами, то же и с бешеной собакой. Логика имеет свои неоспоримые права.

II.

Учение Толстого о непротивлении злу целиком основывается на противопоставлении «вечного»—«временному»,—«духа»—«телу». Присмотримся поближе к этому противопоставлению.

В том виде, какой оно имеет у Толстого, оно равносильно противопоставлению внутреннего человеческого мира, рассматриваемого под углом нравственных потребностей и стремлений,—окружающему человека внешнему миру. Собственное тело всякого данного индивидуума, равно как и тело всякого из его близких, представляется при этом составной частью внешнего мира. Это—один из способов противопоставления сознания бытию. Он нередко встречается в истории мысли; но у Толстого он приобретает большую выпуклость, вследствие чего с большой силой выступают все свойственные ему противоречия.

---

[1]) Там же, стр. 181.

[2]) «Спелые Колосья», стр. 176.

Сознание не независимо от бытия. Оно сначала определяется им, а потом воздействует на него, помогая таким образом его дальнейшему самоопределению. Это более или менее ясно понимают или «чувствуют инстинктом» не только люди, но и многие высшие животные. Если бы высший животный мир перестал чувствовать эту истину, он прекратил бы свою борьбу за существование, т.-е. исчез бы с лица земли. Разумеется истина эта известна и Толстому. Почему не следует вырывать ребенка из рук засекающей его матери? Потому, что она еще более озлобится под влиянием учиненного над ней «насилия», а вследствие этого увеличится сумма зла в мире. Но «насилие» над этой мегерой явилось бы воздействием на нее со стороны внешнего мира. Стало быть, состояние ее сознания определилось бы бытием. Иногда Толстой идет еще дальше в области материалистического объяснения явлений внутреннего мира. Он говорит: — «На всех находят тяжелые минуты, большей частью имеющие физическую причину» [1]). Но все это лишь отдельные замечания, отрывочные проблески материалистической мысли, не сливающиеся в одно целое и к тому же выраженные весьма неудовлетворительно. В своем миросозерцании Толстой остается крайним идеалистом, в глазах которого материализм есть чистейшая бессмыслица. И когда этот крайний идеалист выступает в роли учителя жизни, он обеими ногами переходит на точку зрения полной независимости внутреннего мира от внешнего.

«Людям бывает дурно только оттого, — говорит он, — что они сами живут дурно. И нет ничего вреднее для людей той мысли, что причины бедственности их положения не в них самих, а во внешних условиях. Стоит только человеку или обществу людей вообразить, что испытываемое им зло происходит от внешних условий, и направить свое внимание и силы на изменение этих внешних условий, и зло будет только увеличиваться. Но стоит человеку или обществу людей искренно обратиться на себя, и в себе

---

[1]) «Спелые Колосья», стр. 130.

и в своей жизни поискать причины того зла, от которого он или оно страдает, и причины эти тотчас же найдутся и сами собой уничтожатся» [1]).

Нельзя дальше итти в признании независимости внутреннего мира человека от внешних условий. Но если внутренний мир человека от этих условий совершенно не зависит, то и нет никакой надобности влиять на эти условия в интересах внутреннего мира. Обращаясь к рабочим, Толстой советует им отказываться от участия в войсках и от работ на землях помещиков. Но он советует это, по его собственным словам, «не потому, что это рабочим невыгодно и производит их порабощение, а потому, что участие это есть дурное дело» [2]). Он прямо говорит: «Во всяком случае, все улучшения в положении рабочих произойдут только оттого, что они сами будут поступать более согласно с волей Бога, более по совести, т.-е. более нравственно, чем они поступали прежде» [3]). Это значит, что объявление независимости внутреннего мира от внешнего равносильно провозглашению ненужности планомерного воздействия человека на окружающие его внешние условия, контроля сознания над бытием. И Толстой действительно провозглашает эту ненужность. Он пишет:

«Мы все забываем, что учение Христа не есть учение вроде Моисеева, Магометова и всех других человеческих учений, т.-е. учений о правилах, которые надо исполнять. Учение Христа есть Евангелие, т.-е. учение о благе. Кто жаждет—иди и пей. И потому по этому учению нельзя никому ничего предписывать, никого ни в чем нельзя укорять, никого нельзя осуждать» [4]).

Если нельзя никого осуждать и нельзя никому ничего предписывать, то очевидно, что следует предоставить внешнему миру быть тем, чем он был до сих пор. Нельзя ничего делать для его исправления. «Одно, что можно, что и делали и всегда будут делать христиане,—говорит

[1]) Л. Н. Толстой, «К рабочему народу», стр. 39.

[2]) Там же, стр. 22.

[3]) Там же, стр. 25.

[4]) «Спелые Колосья», стр. 17.

Толстой —это чувствовать себя блаженными и желать сообщить ключ к блаженству другим людям» [1]).

В другом он ту же самую мысль выражает еще яснее:

«Когда видишь, что человек, которого любишь, грешит, то не можешь не желать того, чтобы он покаялся; но при этом я должен помнить, что в лучшем случае, т.-е. при самой безусловной искренности, он может каяться только в пределах своей совести, а не в пределах моей.

«Требования моей совести от меня гораздо выше требований его совести от него, и было бы совсем безрассудно с моей стороны мысленно навязывать ему требования моей совести.

«Кроме того, в этих случаях не следует забывать и того, что, как бы человек ни был виноват, никакие споры с ним, ни обличения, ни увещевания сами по себе не в силах заставить его покаяться, так как каяться человек может только сам, другой же никак не может его раскаять» [2]).

Если никакие споры, ни обличения, ни увещевания сами по себе не в силах заставить человека покаяться, то нужно ли спорить, обличать, увещевать? Если один человек никак не может «раскаять» другого, то нужно ли распространять свои идеи?.. У Толстого выходит, что совсем не нужно. Вот прочтите:

«Очень рад тому, что в последние три года во мне исчезло всякое желание прозелитизма, которое было во мне очень сильно. Я так твердо уверен в том, что то, что для меня истина, есть истина для всех людей, что вопрос о том, когда какие люди придут к этой истине, мне не интересен» [3]).

Но в таком случае какой же смысл имеет знаменитое толстовское «Не могу молчать!». Какой смысл имеет та его проповедь против смертной казни, которая привлекла

---

[1]) Там же, стр. 18.

[2]) Там же, стр. 147—148.

[3]) Там же, стр. 142.

к нему горячие симпатии во всех странах цивилизованного мира? Только тот, что Толстой не всегда оставался толстовцем. Только тот, что, провозгласив независимость внешнего мира человека от внутреннего, он вынужден был по временам признавать эту зависимость. Только тот, что, объявив контроль сознания над бытием ненужным и невозможным, он вынужден был признавать его и возможным и нужным. Другими словами—только тот, что его противопоставление «вечного» «временному» не выдерживало критики жизни, и что он сам не мог по временам не отказываться от этого противопоставления. Еще иначе: Толстой представлялся своим современникам великим учителем жизни только тогда, когда он отказывался от своего учения о жизни.

III.

И так было не только там, где речь шла о смертной казни. Так было решительно везде. Толстой говорит:

«Собственность это фикция, — которая существует только для тех, кто верит Мамону и потом служит ему.

«Верующий в учение Христа освобождается от собственности не каким-нибудь поступком, не передачей собственности сразу или понемногу в другие руки (не признавая значения собственности для себя, он не может придавать значения ее и для других), а христианин освобождается от нее внутренно, сознанием того, что ее нет, и не может быть, главным же образом тем, что она ему не нужна, ни для себя, ни для других» [1]).

Когда не признаешь значения собственности для себя, нельзя, оставаясь последовательным, признавать ее значение для других. Это правильно. А если это правильно, то правилен и тот вывод, что христианин должен освободиться от собственности «внутренно», а не каким-нибудь «поступком»,—например, не передать собственности в другие руки. Обладая изумительным художественным

[1]) Там же, стр. 153.

талантом, гр. Толстой далеко не отличался силой логики. Он очень часто себе противоречил. Но здесь его логика безупречна; здесь его вывод неоспорим.

Теперь я спрашиваю вас, читатель: что же нам думать о тех людях,—может быть, и вы были в их числе,— которые не переставали требовать от гр. Толстого «поступка» вроде передачи им своей земли яснополянским крестьянам, и которые весьма огорчались тем, что он так и не совершил подобного «поступка»?

По-моему, о таких людях можно — извините — сказать только одно: они добры, но не умны. И во всяком случае, они совсем не поняли гр. Толстого.

В той же книге «Спелые Колосья», в которой находится только что приведенное место о собственности, мы находим еще вот какое рассуждение:

«Если бы вы свою собственность просто бросили, не давая никому (разумеется, не соблазняя людей тем, чтобы избыть ее нарочно), и показали бы, что вы не только так же, но еще более радостны, спокойны, добры и счастливы без собственности, как с нею, то вы гораздо более подействовали бы на людей и сделали бы им больше добра, чем если бы вы приманивали их дележом своего избытка».

Кажется, ясно! А дальше еще яснее, если только можно выражаться яснее:

«Я не говорю, что не надо действовать на других, помогать им, напротив, я считаю, что в этом жизнь. Но помогать надо чистым средством, а не нечистым—собственностью. Для того, чтобы быть в состоянии помогать, главное дело, пока мы сами не чисты,—очищать себя» [1]).

Гр. Толстой усердно «очищал себя». Это представлялось и должно было представляться ему «главным делом». А от него ждали и требовали «поступка», совершив который, он изменил бы самому себе. Где же тут логика?

Я знаю: мне возразят, что гр. Толстой не «просто бросил» свою землю, а совершил «поступок», отдав ее

---

1) Там же, стр. 159.

своей семье, и что последствия этого «поступка» заставляли сильно страдать его самого. Еще недавно г. Буланже следующим образом подкреплял свой проект организации фонда для выкупа в пользу крестьян Ясно-Полянской земли.

«Всякий, кому приходилось сталкиваться со Львом Николаевичем, мог заметить, какое страдание доставляло ему то сознание, что имение, в котором он жил, он закрепил много лет тому назад за своими наследниками, и оно принадлежит людям, которые будут в той или иной форме эксплоатировать трудящихся на них крестьян. Трудно представить, какую каторгу представляла для него в этом отношении жизнь в Ясной Поляне. Черкес, охранявший барское добро и не стеснявшийся расправой с крестьянами, поимка баб, собирающих траву, приказчиком, сдача в аренду земли крестьянам Ясной Поляны».

Все это так. Я понимаю, разумеется, что «черкес» должен был сильно мучить Толстого. Еще бы. Но это обстоятельство нисколько не изменяет внутренней логики толстовского учения. Мы уже видели, какова эта логика.

Данный человек живет в роскоши. По учению Толстого, это значит, что у него много собственности, основанной на чужом труде и защищаемой с помощью насилия. Это—зло. Что же делать? Что предпринять по отношению к этому человеку?

Толстой отвечает: «Я могу, по грубости своей, отнять у него возможность роскоши и заставить его работать. Если я сделаю это, я ни на волос не подвину дело Божие — не двину душу этого человека».

Это уже знакомое нам противопоставление интересов «души» интересам «тела», «вечного» «временному». Поведение Толстого определяется интересами «души», требованиями «вечного». «Я не буду,—рассуждает он,—ничего делать, ни говорить для того, чтобы заставить этого человека делать дело Божье, а буду только жить с ним в общении, отыскивая и усиливая все то, что нас соединяет, и отстраняясь от всего того, что мне чуждо. Это—единственное средство исправления человека, широко поль-

зующегося собственностью, основанной на чужом труде. Но это верное средство: и если я сам делаю дело Божье и живу им, я вернее смерти привлеку человека к Богу и заставлю делать дело его» [1]).

Мы не обязаны разделять оптимизм Толстого: грешник, живущий в роскоши, т.-е. эксплоатирующий чужой труд, может остаться нераскаянным. И все-таки мы должны признать, что Толстой изменил бы себе, если бы отнесся иначе к грешнику, эксплоатирующему чужой труд. Логика имеет свои ненарушаемые права. Но если это так, то очень плохо усвоили себе логику учения Толстого люди, огорчавшиеся тем, что он передал Ясную Поляну в собственность своей семьи.

Он мог бы, «по грубости своей», отдать свою землю крестьянам, отнявши этим у своей семьи возможность роскоши и заставив ее работать. Но если бы он сделал это, он ни на волос не подвинул бы «дела Божия», как он его понимал; он не двинул бы душ членов своей семьи. И вот, дорожа божьим делом, он повел себя иначе. Он сохранил за своей семьей материальную возможность роскошной и праздной жизни и продолжал пребывать с нею в общении, отыскивая и усиливая все то, что его с нею соединяло, и стараясь отстраниться от всего, что было ему чуждо.

Если судить по известному выступлению гр. Л. Л. Толстого в «Новом Времени», тактика эта показала себя не весьма плодотворной, но это нас здесь не касается.

Я вообще думаю, что толстовская тактика борьбы со злом неизлечимо бесплодна. И все-таки я вижу, что в данном случае его поведение нимало не противоречило его учению. Напротив, совершенно гармонировало с ним.

Толстой писал: «Дело христианина не в каком-нибудь известном положении, а в исполнении воли Бога. Воля же Бога в том, чтобы на требования жизни отвечать так, как того требует любовь к Богу и людям; и потому определять близость или отдаленность себя и других от идеала

1) «Спелые Колосья», стр. 32.

Христа никак нельзя по тому положению, в котором находится человек, или по тем поступкам, которые он совершает» [1]).

А от него требовали определенного «поступка», хотели, чтобы он поставил себя именно в то, а не в другое положение. Кто же был непоследователен?

Он всячески старался образумить упрекавших. Он говорил им: «один человек, оставив жену или мать, или отца, огорчив и озлобив их, этим делом не совершает почти дурного поступка, потому что он не чувствует причиняемой боли; другой же, сделав тот же поступок, сделал бы поступок гадкий, потому что он чувствует вполне боль, которую причиняет» [2]).

Толстой находил, что, уйдя из Ясной Поляны, он совершил бы дурной поступок, так как его уход причинил бы боль его близким и озлобил бы их. И он не уходил. Против этого решительно ничего нельзя было возразить с точки зрения его проповеди. Напротив! Надо было признать, что его поведение безупречно. А ему писали нелепые письма, к нему приставали с бессмысленными упреками в непоследовательности! Где же справедливость?

Подумайте только! Человек проповедует, что не следует противиться кровожадному «Зулу», пожирающему беззащитного ребенка: противление было бы грехом, потому что еще более озлобило бы людоеда. Ему, т.-е. проповеднику, а не людоеду,—сперва возражают (Михайловский и др.), а потом перестают возражать и ограничиваются рукоплесканиями. Он, т.-е. опять-таки проповедник, а не людоед, — учит, что если мать засекает своего ребенка, то единственное, что мы имеем право позволить себе, это подставить разгневанной мегере свою собственную спину. Слушатели не смеются, а продолжают рукоплескать. Наконец, он учил, что не следует «противиться» даже бешеным собакам. Его аудитория провозглашает его совестью России. А вот когда он отказывается озлобить

[1]) «Спелые Колосья», стр. 98.
[2]) Там же, стр. 99.

свою собственную семью, когда он не решается огорчить женщину, которая в продолжение целых десятков лет была его другом, которая ему самоотверженно помогала в его великом литературном труде, разделяя с ним святые восторги его несравненного художественного творчества, тогда его чувствительная аудитория начинает конфузиться за него и назойливо приставать к нему с вопросом: когда же ты перестанешь себе противоречить?. О, мудрецы!

IV.

В печать проникло известие об интересной беседе В. Г. Черткова с некоторыми слушательницами Бестужевских курсов, ездившими в Ясную Поляну. По словам г. Черткова, «Лев Николаевич не уходил из Ясной Поляны, из жизни, которая была ему тяжела, которую он считал лучшей, потому что видел в таком переходе эгоистический шаг». Это едва ли не единственные разумные слова, которые были произнесены с тех пор, как совершился «исход» Толстого из его родового гнезда. Именно так, именно эгоистический шаг... Господа, назойливо требовавшие такого шага от своего «учителя», этого не сообразили. Не только эгоистический,—такой шаг, повторяю, противоречил всему учению Толстого. Об этом тоже не догадались.

Правда, г. Чертков прибавил, что Толстой смотрел на свое пребывание в Ясной Поляне, как на тяжелый крест. И мне, конечно, и в голову не приходит сомневаться в этом.

Я хорошо помню трогательные строки, написанные им в ответ людям, спрашивавшим его: «Ну, а вы, Лев Николаевич, проповедывать вы проповедуете, а как исполняете?». Строки эти дышат такой искренностью и написаны с такою благородной силой, что читатель наверно с величайшим удовольствием вспомнит их:

«Я отвечаю, что я виноват и гадок, и достоин презрения за то, что не исполняю, но притом не столько в оправдание, сколько в объяснение в непоследователь-

ности своей, говорю:—посмотрите на мою жизнь прежнюю и теперешнюю, и вы увидите, что я пытаюсь исполнить: я не исполнил и одной десятитысячной, это правда, и я виноват в этом, но я не исполнил не потому, что не хотел, а потому, что не умел. Научите меня, как выпутаться из сети соблазнов, охвативших меня, и я исполню, но и без помощи я хочу и надеюсь исполнить. Обвиняйте меня, я сам это делаю, но обвиняйте меня, а не тот путь, по которому я иду и который указываю тем, кто спрашивает меня, где, по моему мнению, дорога» [1]).

Это—настоящая трагедия, много перестрадал человек, из-под пера которого вышли эти строки. Но в чем заключается «пафос» этой трагедии (как выразился бы Белинский)? Толстой говорит о бессильной борьбе своей с охватившими его соблазнами и хочет, чтобы винили его самого, а не тот путь, по которому он шел. Но на самом деле соблазны, если они и были, совсем не играли тут решающей роли, и виноват был не сам Толстой, а именно тот путь, по которому он шел—вернее, пытался итти.

Путь этот вел в мертвую страну квиетизма. А Толстой был слишком живым человеком для того, чтобы хорошо чувствовать себя в этой стране. Он рвался из нее назад. И чем более стремился он вырваться из нее, тем более запутывался он в самых безвыходных и самых мучительных противоречиях. Он не может оставаться в бесплодной стране квиетизма. Но как только он выходит за ее пределы, его заставляет вернуться в нее непреодолимая логика его доктрины, основанной на противопоставления «вечного»—«временному», «духа»—«телу».

Мы видели, что согласно этой доктрине, не следует развивать в себе физическую (животную) жалость к людям. Задача истинного христианина не в том, чтобы избавлять людей от физических страданий. Сегодня вы спасли своего друга от бешеной собаки, а «через много лет» он умер от объядения. Чего же вы достигли? Это не все. Ни один человек не может «раскаять» другого. Поэтому

[1]) «Спелые Колосья», стр. 223.

Толстой радовался, как мы знаем, что в нем угасал дух прозелитизма. Находясь в таком настроении, он писал:

«Человек, понявши жизнь, как учит понимать ее Христос, как бы протягивает от себя наверх нить к Богу, связывает себя с ним и, обрывая все боковые нити, связывавшие его с людьми (как и велит это Христос), держится только на одной божеской нити и ею только руководится в жизни»[1]).

Толстой превращается в монаду, у которой, как известно, нет окон на улицу. Вся его нравственность принимает чисто отрицательный характер: «Не сердись. Не блуди. Не клянись. Не воюй. Вот в чем для меня сущность учения Христа»[2]).

Но хотя у монады нет окон на улицу, улица не перестает бороться за свою жизнь, стремиться к наслаждению и временами тяжело страдать. Страдания эти доходят до сведения монады, и она отзывается на них потому, что ее сердце лучше ее доктрины. Толстой покидает бесплодную страну квиетизма.

В 1892 г. Россию постигает «недород хлебных произведений». Крестьяне голодают. Толстой устремляется к ним на помощь. Покинута роскошная жизнь в Ясной Поляне; начинается деятельное служение ближнему. Вы думаете,— Толстой счастлив, освободившись от тяжести яснополянского «креста»? Очень ошибаетесь. Слушайте:

«Удивительное дело. Если бы у меня еще было сомнение о том, можно ли деньгами делать добро, то теперь, на деньги покупая хлеб и кормя несколько тысяч человек, я уже совершенно убедился в том, что, кроме зла, деньгами ничего сделать нельзя.

Вы скажете: «Зачем же вы продолжаете делать?».

«Затем, что не могу вырваться, и затем, что, кроме самого тяжелого состояния, ничего не испытываю и потому думаю, что делаю это не для удовлетворения личности.

---

[1]) Там же, стр. 24.

[2]) Там же, стр. 216.

«Тяжесть не в труде, труд, напротив, радостен и увлекает, и не в занятии, к которому не лежит сердце, а во внутреннем постоянном сознании стыда перед самим собой» [1]).

Чего, собственно, стыдился в данном случае Толстой? Конечно, не того, что пришел на помощь своим ближним. Это было хорошо. Но плохо было, по его мнению, то, что он помогал им деньгами, которыми нельзя делать добро. Как же следует помогать ближним? Им следует помогать, открывая перед ними свет истинного учения. Толстой не страдал бы и не стыдил бы самого себя, если бы мог быть последовательным. А он был бы последовательным, он остался бы верен духу своего учения, если бы, придя в голодающую местность, изложил крестьянам, как следует жить по закону правды: «Не сердись. Не блуди. Не клянись. Не воюй». Не подумайте, что я клевещу здесь на учение Толстого. Я только открываю перед вами его истинную природу. Толстой был вполне верен этому учению, когда писал:

«Если хорошо представишь себе смерть и вызовешь в своей душе то, что уничтожает страх ее (есть только страх,—смерти самой нет), то, что вызовешь, с излишком достаточно для уничтожения всех плотских страхов и сумасшествия и одиночного заключения».

«Двадцать пять лет сумасшествия или одиночного заключения ведь, во всяком случае, только кажутся удлинением агонии, в сущности же удлинения нет, потому что, перед той истинной жизнью, которая дана нам, час и тысячелетие все равно» [2]).

В этих строках легко узнать автора, придумавшего уже известные нам доводы в пользу непротивления злу: «объядение», от которого через «много лет» умрет мой друг, сегодня спасенный мною от бешеной собаки; эпидемия, которая завтра унесет моих детей, сегодня вырванных из рук «Зулу». Если «нет удлинения агонии» для человека, которого посадили в тюрьму на 25 лет, то нет увеличения мучительности «агонии» и для человека, ко-

---

[1]) Там же, стр. 190—191.

[2]) Там же, стр. 181—182.

торому предстоит умереть голодной смертью. Ибо, если час и тысячелетие все равно перед той истинной жизнью, которая дана нам, то кольми паче все равно, от чего умереть нам—от голода или, например, от тифозного микроба. Вот почему Толстой и считал себя плохим «слугой бога», когда помогал голодающим крестьянам.

Противопоставление «временного» «вечному» привело его к тому, что он *должен* был одинаково страдать как тогда, когда он следовал велениям «вечного», так и тогда, когда служил «временному». В первом случае он упирался в жестокость, с которой не мог помириться; во втором—не мог найти нравственную санкцию для тех услуг, которые он оказывал людям. В обоих случаях он непременно должен был считать себя непоследовательным и слабым в борьбе с соблазнами. И в обоих случаях он должен был тяжело мучиться сознанием своей слабости и непоследовательности. Вот в чем был «пафос» его жизненной трагедии!

Противопоставление «временного» «вечному» означало разрыв нравственности с жизнью; а разрыв нравственности с жизнью роковым образом вел за собой неудовлетворенность потому, что нравственность, оторванная от жизни, так же безнравственна, как и жизнь, утратившая всякое нравственное содержание.

Соблазны, повторяю, если и были, то играли самую незначительную роль. Притом же, я еще не знаю, когда Толстой горше упрекал себя в неумении бороться с соблазнами: тогда ли, когда он жил в Ясной Поляне, или же тогда, когда кормил голодающих крестьян.

V.

В брошюре «Какова моя жизнь?» есть строки, заслуживающие полнейшего внимания всех тех, которые хотели бы додуматься до правильной оценки учения Толстого. Вот эти строки:

«Как скоро мне удалось разрушить в своем сознании софизмы мирского учения, так теория слилась с практикой, и действительность моей жизни и жизни всех людей

стала ее неизбежным последствием». «Я понял, что человек, кроме жизни для своего личного блага, неизбежно должен служить и благу других людей; что если брать сравнение из мира животных, как это любят делать некоторые люди, защищая насилие и борьбу—борьбой за существование в мире животных, то сравнение надо брать из животных общественных, как пчелы, и что потому человек, не говоря уже о вложенной в него любви к ближнему, и разумом и природой своей призван служить другим людям и общей человеческой цели» [1]).

На самом деле произошло совершенно обратное тому, что говорит Толстой. Как только ему удалось справиться удовлетворительным для него образом с тем, что он считал софизмом мирского учения, так его теория потеряла всякую связь с практикой, а его представление о жизни утратило всякое действительное содержание.

Толстой советует некоторым людям брать «сравнение из животных общественных». Последуем его совету.

У общественных животных сильно развиты общественные («социальные») чувства. Как они возникли? Они развились на почве борьбы за *физическое* существование. Если бы не было этой борьбы, то не было бы и социальных чувств. Если бы — чего боже сохрани! — социальные животные пришли к тому убеждению, что болит зуб или живот,—ну и пускай болит, а мне что за дело; если бы они стали уверять друг друга: лучше тебе быть искусанным бешеной собакой, нежели «через много лет» скончаться, например, от объядения, то «некоторые» люди лишены были бы возможности поучаться их примерам потому, что животные общества исчезли бы с лица земли. Таким образом сравнение, сделанное Толстым, говорит против него.

Человек есть живое существо, обладающее известными физиологическими потребностями. Стремление удовлетворить эти потребности вызывает борьбу за существование. Но человек есть общественнное животное. Он борется за существование не в одиночку, а группами,—по мере

---

[1]) «Какова моя жизнь?» гр. Л. Н. *Толстого*, 1902 г., стр. 137—138.

роста производительных сил все более и более обширными. Внутри этих групп возникают отношения, на почве которых создаются правила нравственности, развиваются общественные чувства и стремления людей. То, что, по-видимому, может явиться лишь источником эгоизма, на самом деле порождает,—как результат совместной деятельности, неизменно проходящей через многие поколения, как следствие продолжительного и прочного согласования общих усилий, альтруизм, преданность общему благу, преследование «общечеловеческих» целей. Толстой никогда не мог понять этой диалектики жизни, как не могли понять ее и просветители XVIII столетия, тщетно бившиеся над вопросом о том, откуда взялись нравственные понятия у человека, который есть лишь «чувствующая материя», одаренная первоначально только одним стремлением: жить, избегая страданий. Этот вопрос был разрешен лишь диалектическим материализмом, оставшимся совершенно недоступным для Толстого [1].

Неумение понять указанную диалектику жизни привело Толстого к совершенно несостоятельному в теории противопоставлению «вечного» «временному», «духа» «телу». А это противопоставление толкнуло его в лабиринт практических противоречий, крайне тяжело отражавшихся на его нравственном состоянии.

Пример Толстого лишний раз показывает, до какой степени несостоятелен идеализм в деле учения о нравственности.

Читатель помнит, что говорил Толстой о собственности: «Собственность—это фикция, воображаемое что-то, которое существует только для тех, кто верит Мамону». Раз дано противопоставление «вечного» «временному», «духа» «телу»,—из него логически вытекает такой взгляд на собственность. Но мы уже знаем, что доктрина, основанная на

[1]) Говоря о диалектическом материализме, я имею в виду не только то, что было сделано Марксом и его школой. Говоря о развитии общественных чувств у человека и у других животных, Дарвин является глубокомысленным и последовательным диалектическим материалистом. И его пример далеко не одинок.

этом противопоставлении, далеко не всегда удовлетворяла Толстого. Поэтому совершенно естественно, что у Толстого есть еще другой взгляд на собственность.

Он различает два вида собственности.—«Собственность, как она теперь,—зло. Собственность сама по себе, как радость на то, что и чем и как я сделал—добро. И мне стало ясно. Не было ложки, а было полено. Я подумал, потрудился и вырезал ложку. Какое же сомнение в том, что она моя, как гнездо этой птицы—ее гнездо, которым она пользуется когда хочет и как хочет. Собственность же, ограждаемая насилием (городовым с пистолетом),—это зло. Сделай ложку и ешь ею, и то пока она другому не нужна,—это ясно» [1]).

Собственность, ограждаемая насилием, служит источником рабства. Она основывается на эксплоатации человека человеком.

«Рабство есть освобождение себя одними от труда, нужного для удовлетворения своих потребностей посредством перенесения этого труда на других, и там, где есть человек не работающий, не потому, что на него любовно работают другие, а где он имеет возможность не работать, а заставить других на себя работать, там есть рабство. Там же, где есть, так, как и во всех европейских обществах, люди, пользующиеся трудами тысяч людей и считающие это своим правом,—там есть рабство в страшных размерах» [2]).

Правда, в нынешних европейских обществах порабощение одних людей другими не так бросается в глаза вследствие существования денег. Но деньги только скрывают факт порабощения, а не устраняют его.

«Деньги—это новая страшная форма рабства и так же, как и старая форма рабства личного, развращающая и раба и рабовладельца, но только гораздо худшая, потому что она освобождает раба и рабовладельца от их личных человеческих отношений» [3]).

---

1) «Спелые Колосья», стр. 154.

2) «Какова моя жизнь?», стр. 133.

3) Там же, стр. 134.

Если мы сравним это учение о собственности с тем, что писали о ней социалисты-утописты и даже некоторые просветители XVIII в., напр., Бриссо, то не увидим в нем ничего нового, кроме нескольких наивных выражений [1]). Но социализм, — как старый, утопический, так и новейший, научный,—не отрицает мирского и временного во имя вечного. Он знает, что вечное существует только во временном. Он не пренебрегает интересами «тела» во имя интересов «духа». Ему хорошо известно,—по крайней мере с тех пор, как он стал наукой,—что «дух» есть функция «тела», и что объявить сознание независимым от бытия, значит провозгласить невозможность и ненужность контроля сознания над бытием. Короче, точка зрения социализма прямо противоположна точке зрения Толстого.

Почему же Толстой в своем учении о собственности кончает тем, что переходит на социалистическую точку зрения? Опять-таки по той причине, что ему слишком не по себе в бесплодной пустыне квиетизма, в которую ведет его собственное учение.

Лучшие страницы в сочинениях того периода деятельности Толстого, который можно назвать религиозным периодом, посвящены изображению и разоблачению многочисленных физических и нравственных зол, порождаемых собственностью, основанной на эксплоатации одного общественного класса другим. И несомненно, что эти лучшие страницы привлекли к нему горячее сочувствие многих и многих читателей. Пролетариат чтит в Толстом, едва ли не главным образом, автора этих замечательных страниц. Но никогда не следует забывать, что когда Толстой писал эти страницы, он переставал быть толстовцем. Так что пролетариат, может быть сам того не зная, уважает в Толстом не того человека, который учил жизни, а того, который отказывался от своего учения о жизни. И бесспорно, Толстой заслуживал одобрения и уважения за это. Но всегда следует помнить, что едва заходила речь

[1]) Великий писатель земли русской был беспомощен, как ребенок, когда речь заходила об экономических вопросах. Это особенно заметно в первых главах его брошюры «Какова моя жизнь?».

о том, как же устранить те многочисленные физические и нравственные страдания, которые он так хорошо описывал,—и причину которых ему так ясно указали социалисты,—он опять покидал точку зрения «временного» и возвращался в бесплодную пустыню квиетизма. Тогда он опять выдвигал свое настоящее, т.-е. им самим придуманное, а не заимствованное у социалистов учение о собственности, как о чем-то воображаемом, как о фикции, существующей лишь в воображении людей, подчинившихся Мамону [1]). Тогда он опять начинал на разные лады твердить о непротивлении злу и повторять: «Не сердись. Не блуди. Не клянись. Не воюй». И вот почему он, так много заимствовавший у социалистов, справедливо считал себя как нельзя более далеким от них. Он постоянно ставил их на одну доску с попами, которых так не любил в последние десятилетия своей жизни.

В книге «Спелые Колосья» есть небольшая, но чрезвычайно поучительная глава: «Смешение представлений». В ней говорится: «Мы часто обманываемся тем, что, встречаясь с революционерами, думаем, что мы стоим близко—рядом. «Нет государства!» — «Нет государства».—«Нет собственности!» — «Нет собственности». — «Нет неравенства!»—«Нет нерабенства» и многое другое. Кажется, все одно и то же. Но разница есть большая и даже нет более далеких

[1]) Учение это давно уже копошилось в голове Толстого. В 1861 г. его Холстомер так объяснял значение слов: «свой», «мой» и проч. «Значение их такое: люди руководятся в жизни не делами, а словами. Они любят не столько возможность делать или не делать чего-нибудь, сколько возможность говорить о разных предметах условленные между ними слова. Таковы слова, считающиеся важными между ними, суть слова: мой, моя, мое...» и т. д. (Сочинения гр. Л. Н. Толстого. Ч. I. Повести и рассказы, Москва 1903 г., стр. 430). Из этого видно, между прочим, что Толстой был только отчасти прав в своем рассказе о перевороте, который он пережил в начале 80-х годов. Изменилось только его настроение, а идеи остались у него старые. И в этом несоответствии старых идей с новым настроением заключалась еще одна причина его противоречий и его неудовлетворенности. Впрочем, эта причина второстепенная, производная, в свою очередь, являющаяся следствием коренной причины, подробно рассмотренной в тексте.

от нас людей. Для христианина нет государства, для них нужно уничтожить государство. Для христианина нет собственности, а они сокрушить хотят собственность. Для христианина все равны, а они хотят уничтожить неравенство. Это как два конца несомкнутого кольца. Концы рядом, но более отдалены друг от друга, чем все остальные части кольца. Надо обойти все кольцо для того, чтобы соединить то, что на концах» [1]).

Здесь ошибочное перемешано с верным. Но ошибочное здесь несущественно, а верное крайне важно.

Так, например, Толстой утверждает, что революционеры стремятся «уничтожить государство». Это верно только в применении к анархистам. Но анархисты составляют ничтожнейшее меньшинство в рядах революционеров нашего времени, если только вообще можно назвать их революционерами, чего я не думаю. Выходит, что утверждение Толстого неправильно. Неправильно и то его утверждение, что революционеры хотят «сокрушить собственность». Скажу больше, кто привык мыслить ясно и отчетливо, тот даже и не поймет, что значит глагол «сокрушить» в применении к такому общественному учреждению, как собственность. И несомненно, что революционеры наших дней в огромнейшем большинстве своем,—т.-е. опять за исключением анархистов, являющихся крайне сомнительными революционерами,—хотят не «сокрушить» собственность, а придать ей новый характер: заменить частную собственность на средства производства—общественною. «Сокрушение» же собственности,—если понимать под ним насильственное уничтожение или порчу ее предметов, всегда строго осуждалось и осуждается ими, как действие вредное и свидетельствующее о бессознательности людей, его совершающих.

Но это не важно. А в важном Толстой был совершенно прав. Не было и нет людей, более далеких от него, нежели современные социалисты... Вернее,—тех из них, ко-

[1]) «Спелые Колосья», стр. 69—70.

торые вполне усвоили себе смысл своих собственных теоретических взглядов и своих собственных практических стремлений. Нельзя лучше выразиться: «это как два конца несомкнутого кольца... Надо обойти все кольцо для того, чтобы соединить то, что на концах». Кто не понимает этого, тот повинен в смешении представлений.

Многие ли грешат у нас теперь этим грехом, пусть судит сам читатель [1])...

---

[1]) Людям, желающим избежать этого греха, очень рекомендую прекрасную работу Л.-Аксельрод (Ортодокс. Tolstois Weltanschauung und ihre Entwickelund von L. Axelrod, Stuttgart, Verlag von Ferdinand Enke, 1902.

КАРЛ МАРКС и ЛЕВ ТОЛСТОЙ [1]).

I.

Помните ли вы, читатель, поистине гениальную характеристику Виктора Гюго, сделанную Чернышевским в одном из его примечаний к «Рассказу о Крымской войне Кинглека»? Если нет, то вы, наверное, с удовольствием перечитаете ее. Вот она:

«До февраля 1848 года Виктор Гюго не знал, какой у него образ мыслей в политике, ему не приходилось думать об этом; а впрочем он был прекраснейший человек и отличный семьянин, добрый, честный гражданин и сочувствовал всему хорошему, в том числе славе Наполеона I и рыцарскому великодушию императора Александра I, доброму сердцу герцогини Орлеанской, матери наследника тогдашнего короля Луи-Филиппа, и несчастиям благородной герцогини Беррийской, матери соперника этому королю и этому наследнику, сочувствовал прекрасному таланту Тьера, соперника Гизо, гениально простому красноречию Гизо (едва ли не величайшего из тогдашних ораторов), честности Одилона Барро, противника Гизо и Тьера, гению и честности Араго, знаменитого астронома, главного представителя республиканцев в тогдашней палате, благородству фурьеристов, добродушию Луи Блана, великолепной диалектике Прудона, любил монархические учреждения и, кроме того, все остальное хо-

---

[1]) «Социал-Демократ»—Ц. О. Р. С.-Д. Р. П. № 19—20, от 13-го января 1911 года.

рошее, в том числе и Спартанскую республику и Вильгельма Телля,—образ мыслей известный и заслуживающий всякого почтения уже и по одному тому, что из сотни честных, образованных людей чуть ли не 99 человек во всех странах света имеют наверно такой образ мыслей» [1]).

Чернышевский написал эти блестящие строки летом 1863 года, когда сидел в Петропавловской крепости. С тех пор много времени прошло, много воды утекло и много перемен совершилось на свете. Не изменился только «заслуживающий всякого почтения образ мыслей» эклектиков. Эти добрые люди теперь, как и прежде, готовы объединять в своем сочувствии такие общественные стремления и такие способы действий, между которыми нет и не может быть ничего общего. Таких людей до сих пор много везде, особенно же много их у нас в России вследствие неразвитости наших общественных отношений. Здесь вы очень нередко встретите «честных» и «образованных» людей, одновременно сочувствующих, например, тому же Чернышевскому, который проповедывал материализм, и нынешним нашим «философам», обеими ногами стоящим на идеалистической точке зрения. Но это еще только пол-беды. Тут речь идет о философии, а философия для многих—дело весьма темное. Гораздо более замечательны те «честные» и «образованные», а главное—добрые люди, которые одновременно одинаково сочувствуют теперь у нас Сазонову, который убил Плеве, и графу Толстому, который упорно твердил: «не противься злу насилием». Смерть гр. Толстого развязала языки этим людям. Дело дошло до того, что их влияние начинает распространяться даже на социалистическую среду. Совершается это через посредство таких межеумочных журналов, как «Наша Заря», которая подобно органу немецких ревизионистов «Sozialistische Monatshefte», — готова, под предлогом широты своих социалистических воззрений, приветствовать всякий

[1]) Сочинения Н. Г. Чернышевского, Спб. 1906 г., том X, ч. 2, стр. 96, 2-го отдела.

вздор, если только он идет вразрез с коренными положениями марксизма. Прежде у нас «дополняли» Маркса Кантом, Махом, Бергсоном. Я предсказывал, что скоро начнут «дополнять» его Фомой Аквинским. Это мое предсказание пока еще не оправдалось. Но зато теперь широко практикуется попытка «дополнить» Маркса гр. Толстым. А это еще более удивительно.

Как же на самом деле относится миросозерцание Маркса к миросозерцанию Толстого? Они прямо противоположны одно другому. Об этом очень не мешает напомнить.

II.

Миросозерцание Маркса есть диалектический материализм. Наоборот, Толстой не только идеалист, но он всю жизнь свою был, по приемам мысли, самым чистокровным метафизиком [1]). Энгельс говорит: «Метафизик мыслит законченными, непосредственными противоположениями; речь его состоит из: «да—да, нет—нет; что сверх того, то от лукавого. Для него вещь существует, или не существует: для него предмет не может быть самим собою и в то же время чем-нибудь другим; положительное и отрицательное абсолютно исключают друг друга» [2]). Это именно тот способ мышления, который так характерен для гр. Толстого и который людям, не доросшим до диалектики, напр., г. М. Неведомскому,—представляется «главной силой» этого писателя, «объяснением его всемирного обаяния, живой связи его с современностью» [3]).

Г. М. Неведомский ценит в Толстом его «абсолютную последовательность». Тут он прав. Толстой, в самом деле был «абсолютно - последовательным» метафизиком. Но именно

[1]) Прошу заметить, что я говорю о приемах его мысли, а не о приемах его творчества. Приемы его творчества были совершенно чужды указанного недостатка, и он сам смеялся над ним, встречая его у других художников.

[2]) «Развитие научного социализма» Фр. Энгельса. Перевод с немецкого В. Засулич, Женева 1906 г., стр. 17.

[3]) «Наша Заря» № 10, стр. 9.

это обстоятельство было главным источником слабости Толстого, именно благодаря ему он остался в стороне от нашего освободительного движения; именно благодаря ему он мог сказать о себе,—и, конечно, с полной искренностью,—что он так же мало сочувствует реакционерам, как и революционерам. Когда человек до такой степени удаляется от «современности», то смешно и говорить об его «живой связи» с нею. И само собою понятно также, что именно «абсолютная последовательность» Толстого делала его учение «абсолютно»-противоречивым.

Почему не следует «противиться злу насилием»? Потому,—отвечает Толстой,—что «нельзя огнем тушить огонь, водою сушить воду, злом уничтожать зло» [1]). Это—именно та «абсолютная последовательность», которая характеризует собой метафизический способ мышления. Только у метафизика могут приобретать абсолютное значение такие относительные понятия, как зло и добро. В нашей литературе Чернышевский давно уже выяснил, вслед за Гегелем, что «в действительности все зависит от обстоятельств, от условий места и времени», и что «прежние общие фразы, которыми судили о добре и зле, не рассматривая обстоятельств и причин, по которым возникало данное явление, что эти общие, отвлеченные изречения не удовлетворительны: каждый предмет, каждое явление имеет свое собственное значение и судить о нем должно по соображению той обстановки, среди которой оно существует» [2]).

Но «абсолютно-последовательный» гр. Толстой никогда не хотел да и не мог судить об общественных явлениях «по соображению той обстановки, среди которой они существуют». Поэтому он в своей проповеди никогда не мог пойти дальше неудовлетворительных «общих отвле-

---

[1]) «Спелые Колосья». Сборник мыслей и афоризмов, извлеченных из частной переписки Л. Н. Толстого. Составил с разрешения автора Д. Кудрявцев. Женева 1896 г., стр. 218. К этой книге приложено письмо гр. Толстого г. Кудрявцеву, показывающее, что Толстой не встретил в ней ничего противоречащего его взглядам.

[2]) Н. Г. Чернышевский, Сочинения, том II, стр. 187.

ченных изречений». Если в этих «общих, отвлеченных изречениях» многие «честные» и «образованные» господа видят теперь какую-то «силу», то это свидетельствует лишь об их собственной слабости.

Чернышевский прямо ставит, между прочим, и вопрос о насилии. Он спрашивает: «пагубна или благотворна война?». «Вообще,—говорит он,—нельзя отвечать на это решительным образом; надобно знать, о какой войне идет дело, все зависит от обстоятельств, времени и места. Для диких народов вред войны менее чувствителен, польза ощутительнее; для образованных народов война приносит обыкновенно менее пользы и более вреда. Но, например, война 1812 года была спасительна для русского народа; марафонская битва была благодетельнейшим событием в истории человечества» [1]). Если бы не цензура, то Чернышевский нашел бы, конечно, и другие примеры. Он сказал бы, что бывают случаи, когда внутренняя война, т.-е. революционное движение, направленное против устарелого порядка вещей, является благодетельнейшим событием в истории народа, несмотря на то, что революционерам по необходимости приходится противопоставлять силу насилию охранителей. Но те диалектические соображения, которыми Чернышевский подкреплял свою мысль, навсегда остались недоступными для «абсолютно-последовательного» Толстого, и только поэтому он мог ставить наших революционеров на одну доску с нашими охранителями. Больше того. Охранители должны были представляться ему менее вредными, чем революционеры. В 1887 году он писал: «Вспомним Россию за последние 20 лет. Сколько истинного желания добра, готовности к жертвам потрачено нашей молодой интеллигенцией на то, чтобы установить правду, чтобы сделать добро людям. И что же сделано? Ничего. Хуже чем ничего. Погубили страшные душевные силы. Колья переломали и землю убили плотнее, чем прежде была, так, что и заступ не берет» [2]). Если, впоследствии,

[1]) Сочинения, т. IV, стр. 187 и 188, примечание.

[2]) «Спелые Колосья», стр. 218.

он, может быть, уже не считал революционеров более вредными, чем охранителей, то он все-таки не видел в их действиях ничего, кроме ужасных злодейств и глупости [1]). И это, опять-таки, было «абсолютно-последовательно». Его учение о «непротивлении злу насилием» лучше всего поясняется следующим его рассуждением:

«Если мать сечет своего ребенка, то что мне больно и что я считаю злом? То ли, что ребенку больно, или то, что мать, вместо радости любви, испытывает муки злобы?

«И я думаю, что зло в том и в другом.

«Один человек не может делать ничего злого. Зло есть разобщение людей. И потому, если я хочу действовать, то могу только с целью уничтожить разобщение и восстановить общение между матерью и ребенком.

«Как же мне поступать? Насиловать мать?

«Я не уничтожу ее разобщения (греха) с ребенком, а только внесу новый грех, разобщение со мною.

«Что же делать?

«Одно—поставить себя вместо ребенка,—это не будет неразумно» [2]).

Такой способ борьбы со злом мог бы оказаться действительным только при одном условии: если бы злая мать до такой степени удивилась, увидя постороннего и взрослого человека, ложащегося рядом с ее ребенком, что выронила бы из рук розгу. При отсутствии же этого условия, он не только не устранил бы «разобщения (греха)» матери с ребенком, но и привел бы к «новому греху ее» разобщению со мною: мать могла бы, например, встретить «мой» самоотверженный поступок презрительной насмешкой и, не обращая на него затем уже ни малейшего внимания, продолжать свое жестокое занятие. Именно это и случилось, когда Толстой выступил со своим «Не могу молчать!».

---

[1]) «Не могу молчать!», Берлин, изд. Ладыжникова, стр. 26 и следующие.

[2]) «Спелые Колосья», стр. 210.

Он говорил так: «Затем я и пишу это, буду всеми силами распространять то, что пишу и в России и вне ее, чтобы одно из двух: или кончились эти нечеловеческие дела, или уничтожилась бы моя связь с этими делами, чтобы или посадили меня в тюрьму, где бы я ясно сознавал, что не для меня уже делаются все эти ужасы, или же, что было бы лучше всего (так хорошо, что я и не смею мечтать о таком счастье), надели на меня так же, как и на тех двадцать или двенадцать крестьян, саван и так же столкнули со скамейки, чтобы я своей тяжестью затянул на своем старом горле намыленную петлю» [1]).

Предлагая надеть на него намыленную петлю и столкнуть его со скамейки, гр. Толстой лишь снова повторял ту свою мысль, что когда мать засекает своего ребенка, то мы,—не имея нравственного права вырвать его у нее,—можем только положить себя на его место. Из этой мысли на практике вышло именно то, что, как я сказал, должно было выйти: палачи продолжали свое дело, точно и не слыхали просьбы Толстого: «повесьте меня с ними». Правда, написанная великим художником яркая картина совершаемых палачами жестокостей возбудила против правительства общественное мнение и тем несколько увеличила шансы нового подъема у нас революционного движения. Но, при своем отрицательном взгляде на это движение, «абсолютно-последовательный» Толстой не мог хотеть этого побочного результата [2]).

Наоборот, он боялся его. Это видно из его последней статьи о смертной казни, написанной 29 октября в Оптиной пустыни и озаглавленной «Действительное сред-

[1]) «Не могу молчать!», стр. 40—41.

[2]) *Примечание для проницательного критика.* В другой статье, напечатанной в другом издании, я говорю, что в «Не могу молчать!» Толстой перестает быть толстовцем. Не думайте, что это противоречие. Все дело в том, что там я рассматриваю «Не могу молчать!» с другой стороны. А именно со стороны отношения Толстого к «прозелитизму», который, по его справедливому мнению, плохо вяжется с духом его доктрины. А между тем, чтобы писать и издавать свои сочинения, надо хоть до некоторой степени иметь дух прозелитизма.

ство». Он доказывает в ней, что «в наше время для действительной борьбы с казнью нужны не проламывания раскрытых дверей, не выражения негодования против безнравственности, жестокости и бессмысленности казни. Всякий искренний, мыслящий человек, кроме того еще знающий с детства шестую заповедь, не нуждается в разъяснениях бессмысленности и безнравственности казни. Не нужны также описания ужасов самого совершения казней». Обыкновенно чуждый точки зрения практической целесообразности, гр. Толстой переходит здесь на нее, доказывая, что описание ужасов смертной казни приносит вред тем, что уменьшает число кандидатов в палачи, вследствие чего правительству дороже приходится оплачивать их услуги! Поэтому единственное позволительное и действительное средство борьбы со смертной казнью состоит в том, «чтобы внушить всем людям, в особенности распорядителям палачей и одобрителям их» правильные понятия о человеке и об его отношении к окружающему его миру. Теперь выходит, стало быть, что нам уже нет нужды представлять наше грешное тело в распоряжение взбешенной матери, засекающей своего ребенка: достаточно ознакомить ее с религиозным учением гр. Толстого.

Вряд ли нужно еще доказывать, что подобная «абсолютная последовательность» решительно устраняет всякую возможность «живой связи» с «современностью».

III.

Гр. Толстому в голову не приходило спросить себя, не обусловливается ли власть истязующего над истязуемым и казнящего над казнимым какими-нибудь общественными отношениями, для устранения которых можно и должно было бы воспользоваться насилием. Он не признавал зависимости внешнего мира людей от внешних условий. Это опять происходило оттого, что он был «абсолютно последователен» в своем метафизическом идеализме. И только благодаря своей крайней последователь-

ности метафизика, он мог думать, что для выхода России из ее нынешнего тяжелого положения есть только одно «действительное средство»: обращение нынешних ее угнетателей на путь истины.

Говорят, что уже в ранних произведениях Толстого очень нередко встречаются зародыши тех мыслей, из совокупности которых составилось впоследствии его нравственно-религиозное учение. Это справедливо. И к этому надо прибавить, что уже в ранних произведениях гр. Толстого встречаются сцены, чрезвычайно ярко характеризующие тот способ «борьбы» со злом, который практиковался им, в последнее тридцатилетие его жизни. Вот одна из них, быть может, самая замечательная. В «Юности» (в главе «Дмитрий») описывается «насилие», вызванное вопросом о том, где ляжет Иртеньев, оставшийся ночевать на даче у Нехлюдова.

«Постель мне была еще не постлана, и мальчик, слуга Дмитрия, пришел спросить его, где я буду спать.

«— Убирайся к чорту! — крикнул Дмитрий, топнув ногой,—Васька! Васька! Васька! — закричал он, только что мальчик вышел, с каждым разом возвышая голос.—Васька! стели мне на полу.

«— Нет, лучше я лягу на полу,—сказал я.

«— Ну все равно, стели где-нибудь,—тем же сердитым тоном продолжал Дмитрий,—Васька! что ж ты не стелешь?

«Но Васька, видимо, не понимал, чего от него требовали, и стоял, не двигась.

«— Ну, что ж ты? Стели, стели! Васька! Васька!— закричал Дмитрий, входя вдруг в какое-то бешенство.

«Но Васька, все еще не понимал и, оробев, не шевелился.

«— Так ты поклялся меня погуб... взбесить.

«И Дмитрий, вскочив со стула и подбежав к мальчику, из всех сил несколько раз ударил по голове кулаком Ваську, который стремглав убежал из комнаты. Остановившись у двери, Дмитрий оглянулся на меня, и выражение бешенства и жестокости, которое за секунду было на его лице, заменилось таким кротким, пристыженным и любящим и детским выражением, что мне стало жалко его

и, как ни хотелось отвернуться, я не решился это сделать». После этого Дмитрий стал горячо и долго молиться, а по окончании молитвы между друзьями произошел такой разговор:

«— А отчего ты мне не скажешь,—сказал он (Дмитрий. *Г. П.*),—что я гадко поступил? Ведь ты об этом сейчас думал?

«— Да,—отвечал я,—хотя и думал о другом, но мне показалось, что действительно я об этом думал,—да, это очень нехорошо, я даже и не ожидал от тебя этого.

«— Ну, что зубы твои?—прибавил я.

«— Прошли. Ах, Николенька мой друг!—заговорил Дмитрий так ласково, что слезы, казалось, стояли в его блестящих глазах,—я знаю и чувствую, как я дурен, и Бог видит, как я желаю и прошу его, чтоб Он сделал меня лучше; но что же мне делать, ежели у меня такой несчастный, отвратительный характер? что же мне делать? Я стараюсь удерживаться, исправляться, но ведь это невозможно вдруг и невозможно одному. Надо, чтобы кто-нибудь поддерживал, помогал мне».

По поводу этой замечательной сцены еще Писарев сделал несколько весьма остроумных отзывов в статье «Промахи незрелой мысли». Он писал:

«Иртеньев повидимому так мало поражен избиением Васьки, что в самую минуту этого события все его внимание обращено исключительно на игру лицевых мускулов в физиономии Нехлюдова. Замечая в этих мускулах быстрое передвижение, вследствие которого скотское выражение бешенства переходит в гримасу раскаяния, Иртеньев совершенно забывает об участи Васьки, у которого в это время по всей вероятности лицевые мускулы тоже находятся в сильном движении и у которого кроме того созревают на черепе синяки и кровяные шишки. Иртеньев начинает соболезновать не о том, кого избили, а о том,—кто бил».

Статья «Действительное средство», представляющая собою как бы политическое завещание гр. Толстого, заставила меня вспомнить как о трогательном разговоре

Иртеньева с Нехлюдовым, так и об остроумных замечаниях, сделанных по его поводу одним из самых выдающихся представителей 60-х г.г. Что бы ни толковали об его индивидуализме, несомненно одно: Писарев целиком стоял на стороне того, кого били, а не того, кто бил. О Толстом же, которого совершенно не коснулось движение 60-х г.г., этого сказать нельзя. Разумеется, было бы несправедливо утверждать, что он не сочувствовал избиваемым. У нас нет никакого основания не верить ему, когда он говорит, что ему одинаково жаль и ребенка, которого истязует мать, и мать, которая испытывает муки злобы. Но если перед нами один человек душит другого, и если вы «одинаково» сочувствуете им обоим, то вы тем самым показываете, что на самом деле вы, незаметно для себя, более сочувствуете душителю, нежели душимому. А если вы при этом, обращаясь к окружающим, говорите, что было бы безнравственно защищать душимого насилием, и что единственное позволительное и «действительное средство» состоит в нравственном исправлении душителя, то вы еще более переходите на сторону этого последнего.

Заметьте, кроме того, как изображается Толстым состояние действующих лиц в примере матери, засекающей ребенка: этому последнему «больно» (физически), а мать озлоблена, т.-е. терпит «н р а в с т в е н н ы й в р е д». Но физические страдания и лишения людей всегда очень мало занимали Толстого, интересовавшегося исключительно их нравственностью. Поэтому для него было совершенно естественно свести весь вопрос к тому, какое зло мы причинили бы матери, отнимая у нее ребенка. Он не спрашивает себя, как отразится на нравственном состоянии ребенка испытываемая им физическая боль. Совершенно так же Иртеньев, сосредоточивши свое внимание на нравственном состоянии благородного Нехлюдова, позабыл о нравственном состоянии избитого Васьки.

Последняя статья Толстого против смертной казни является словом в защиту палачей. Если бы враги существующего политического порядка захотели послушаться до-

брого совета, данного им в этой статье, то им пришлось бы ограничить свою деятельность уверением правительства, что вешать «очень не хорошо» и что они от него «даже и не ожидали этого». Отсюда, в самом лучшем случае, могло бы произойти только то, что правительство П. А. Столыпина ответило бы: «Я знаю и чувствую, как я поступаю дурно, и Бог видит, как я желаю и прошу его, чтоб он сделал меня лучше; но что же мне делать, ежели у меня такой несчастный, отвратительный характер?.. Я стараюсь удерживаться, исправляться; но это невозможно вдруг и невозможно одному. Надо, чтобы кто-нибудь поддерживал, помогал мне».

Легко понять, что положение России, угнетаемой и разоряемой правительством г. Столыпина, так же мало изменилось бы от этого к лучшему, как мало изменилось состояние избитой головы Васьки от того, что Иртеньев вступил в чувствительное объяснение с Нехлюдовым.

IV.

Нравственная проповедь гр. Л. Толстого вела к тому, что,—поскольку он занимался ею,—он сам, того не желая и не замечая, переходил на сторону угнетателей народа. В своем известном обращении «К царю и его помощникам» он говорил:—«Обращаемся ко всем вам—к царю, членам Государственного Совета, к сенаторам, министрам, ко всем лицам, близким к царю, ко всем лицам, имеющим власть помогать успокоению общества и избавить его от страданий и преступлений, обращаемся к вам не как к людям другого лагеря, а как к невольным единомышленникам, сотоварищам нашим и братьям» [1]). Это была правда, всей глубины которой не подозревал сам гр. Толстой, как не подозревают ее «честные, образованные» люди, предающиеся теперь настоящей оргии сентиментальности. Гр. Толстой был не

[1]) «Отклики гр. Л. Н. Толстого на злобу дня в России». Берлин 1901 г., стр. 13.

только сыном нашей аристократии, он долго был ее идеологом, правда, не во всех отношениях [1]). В его гениальных романах наш дворянский быт изображается, хоть и без ложной идеализации, но все-таки со своей лучшей стороны. Отвратительная сторона этого быта, — эксплоатация крестьян помещиками,—как бы не существовала для Толстого [2]). В этом сказался весьма своеобразный, но в то же время непобедимый консерватизм нашего великого художника. А этот консерватизм, в свою очередь, обусловил собою то обстоятельство, что даже тогда, когда Толстой обратил, наконец, свое внимание на отрицательную сторону дворянского быта и стал осуждать ее с точки зрения нравственности, он все-таки продолжал заниматься эксплоататорами, а не эксплоатируемыми. Кто не замечает этого, тот никогда не дойдет до правильного понимания его нравственности и его религии.

В «Войне и Мире» Андрей Болконский говорит Безухову: «Ну, вот ты хочешь освободить крестьян. Это очень хорошо; но не для тебя (ты, я думаю, никого не засекал и не посылал в Сибирь), и еще меньше для крестьян... А нужно это для тех людей, которые гибнут нравственно, наживают себе раскаяние, подавливают это раскаяние и грубеют оттого, что у них есть возможность казнить право и неправо. Вот кого мне жалко, и для кого бы я желал освободить крестьян».

Разумеется, Толстой никогда не сказал бы о крестьянах, как говорит о них в том же разговоре Болконский: «Ежели их бьют, секут, посылают в Сибирь, то я думаю,

---

[1]) Следует помнить, что он принадлежал к семье очень родовитой, но совсем не чиновной.

[2]) Иртеньев говорит у него («Юность», глава XXXI): «Мое любимое и главное подразделение людей в то время, о котором я пишу, было на людей comme il faut и на comme il ne faut pas. Второй род подразделялся еще на людей собственно не comme il faut и простой народ». Ни один из видов этого второго рода не имел самостоятельного интереса в глазах графа-художника. Если простой народ и выступает на сцену (например, в «Войне и Мире» или в «Казаках»), то лишь для того, чтобы своей непосредственностью отметить рефлексию, разъедающую людей comme il faut.

что им от этого нисколько не хуже». Граф Толстой понимал, что им гораздо хуже от этого. И все-таки страдающие крестьяне занимали его несравненно меньше, нежели те, которые заставляли их страдать,—т.-е. люди его собственного сословия — дворяне. Чтобы облегчить читателю понимание его настроения, я сошлюсь на пример его собственного брата Н. Н. Толстого.

Фет рассказывает, что однажды приехавший к нему Н. Н. Толстой очень рассердился на своего крепостного кучера, вздумавшего поцеловать его руку. «С чего вдруг этот скот выдумал целовать руку?—говорил он с раздражением в голосе,—от роду этого не было».

Фет считает нужным прибавить, что это нелестное для кучера замечание сделано было лишь после того, как тот ушел к лошадям [1]): и я готов признать деликатность Н. Н. Толстого. Но его деликатность отнюдь не устранила той особенности в его психологии, в силу которой он продолжал величать скотом своего кучера, даже после того, как твердо решил, что целование руки барина слугою оскорбляет человеческое достоинство. Но если слуга остается «скотом», то чье же человеческое достоинство оскорбляется тем, что он целует руку? Очевидно, достоинство деликатного барина. Таким образом даже сознание человеческого достоинства окрашивается здесь ярким цветом сословного предрассудка. И вот этот-то сословный предрассудок проникает собою все учение графа Л. Толстого. Только под его влиянием, он мог написать свою статью «Действительное средство». Только привыкнув рассматривать угнетение под углом того нравственного вреда, который оно приносит угнетателям, граф Толстой мог, умирая, сказать своей стране: я не признаю за тобою никакого другого права, кроме права содействовать нравственному исправлению твоих мучителей.

Излишне прибавлять, что только идеалист мог, подобно Толстому, оставаться искренним в таком стремлении к

---

[1]) Лев Николаевич Толстой. Биография. Составил П. Бирюков, стр. 355.

справедливости, которое само было несправедливым по своему существу. Материалист не обошелся бы в данном случае без весьма значительной доли цинизма. В самом деле, только идеализм позволяет рассматривать требования нравственности, как нечто независимое от существующих в данном обществе конкретных отношений между людьми. У графа же Толстого, вследствие свойственной ему «абсолютной последовательности» метафизика, этот обычный недостаток идеализма дошел до последней крайности, выразившись в решительном противопоставлении «вечного» «временному», «духа» «телу» [1]).

Не будучи в состоянии заменить в своем поле зрения угнетателей угнетаемыми,—иначе сказать: перейти с точки зрения эксплоататоров на точку зрения эксплоатируемых,— Толстой естественно должен был направить свои главные усилия на то, чтобы нравственно исправить угнетателей, побудив их отказаться от повторения дурных поступков. Вот почему его нравственная проповедь приняла отрицательный характер. Он говорит: «Не сердись. Не блуди. Не клянись. Не воюй. Вот в чем для меня сущность учения Христа» [2]).

Это еще не все. Проповедник, поставивший себе целью нравственное возрождение людей, испорченных своей ролью эксплоататоров, и не видящий в своем поле зрения никого, кроме таких людей, не может не сделаться индивидуалистом. Граф Толстой много распространялся о важности «единения». Но как понимал он практику «единения»? А вот как: «Будем делать то, что ведет к единению,— приближаться к Богу, а об единении не будем думать. Оно будет по мере нашего совершенства, нашей любви. Вы говорите: «сообща легче». Что легче? Пахать, косить, сваи бить,—да, легче, но приближаться к Богу можно только по - одиночке» [3]).

Это—чистейший индивидуализм, которым объясняется, ме-

---

[1]) Эта сторона предмета подробно рассматривается мной в другой статье, к которой я отсылаю читателя.

[2]) «Спелые Колосья», стр. 216.

[3]) «Спелые Колосья», стр. 75.

жду прочим, и страх смерти, сыгравший такую огромную роль в учении Толстого. Еще Фейербах,—подробно развивая мысль, мимоходом высказанную Гегелем,—утверждал, что свойственный новейшему человечеству страх смерти, обусловливающий собою современное религиозное учение о бессмертии души, есть продукт индивидуализма. По словам Фейербаха, индивидуалистически настроенный субъект не имеет другого объекта, кроме самого себя, и потому чувствует непреодолимую потребность верить в свое бессмертие. В античном мире, не знавшем христианского индивидуализма, субъект имел объектом не самого себя, а то политическое целое, к которому он принадлежал: свою республику, свой город-государство. Фейербах приводит то замечание блаженного Августина, по которому слава Рима заменяла римлянам бессмертие. Граф Толстой так же мало способен был упиваться двусмысленной «славой» государства российского, как и эксплоататорскими подвигами благородного русского дворянства. В этом сказалось влияние на него передовых идей его времени. Но он не способен был и перейти на сторону массы, эксплоатируемой дворянским государством. Фейербах сказал бы, что ему оставалось иметь «объектом» самого себя, жаждать личного бессмертия. Граф Толстой усердно доказывал, что смерть вовсе не страшна. Но он делал это единственно потому, что нестерпимо боялся ее. Читатели «Социал-Демократа» понимают и без моих разъяснений, что практика «единения» представляется сознательному пролетариату совершенно в другом виде, чем представлялась она Толстому. И если некоторые идеологи рабочего класса называют теперь Толстого «учителем жизни», то они очень заблуждаются: пролетариату совершенно невозможно «учиться жизни» у графа Толстого.

V.

Кстати о заблуждении. Граф Толстой, часто утверждавший, что у него нет ничего общего с социалистами, насколько я знаю, ни разу не постарался точно и ясно определить

свое отношение к научному социализму Маркса. Оно и понятно: этот социализм был ему мало известен. Однако в книге «Спелые Колосья» есть строки, в которых, вероятно без ведома гр. Толстого, как нельзя яснее обнаруживается полная противоположность его учения с учением Маркса. Толстой пишет там:

«Главное заблуждение людей то, что каждому отдельно кажется, что руководитель его жизни есть стремление к наслаждению и отвращение от страданий. И человек, один, без руководства, отдается этому руководителю: ищет наслаждений и избегает страдания, и в этом полагает цель и смысл жизни. Но человек никогда не может жить, наслаждаясь, и не может избегать страданий. Стало быть, не в этом цель жизни.—А если бы была в том, то—что за нелепость! Цель—наслаждения, а их нет и не может быть.—А если бы они и были,—конец жизни—смерть, всегда сопряженная со страданиями.—Если бы моряки решили, что цель их миновать подъема волн, куда бы они заехали?—Цель жизни вне наслаждений» [1]).

В этих строках хорошо виден христиански-аскетический характер толстовского учения о нравственности. Если бы я захотел найти поэтическую иллюстрацию для этого учения, то я обратился бы к известному духовному стиху «О вознесении Христовом». В нем рассказывается, как нищая братия прощалась с собравшимся вознестись на небо Иисусом и как присутствовавший при этом Иоанн Златоуст говорил ему:

Не давай нищим гору крутую,
Что крутую гору, золотую:
Не суметь горою владати,
Не суметь им золотые поверстати,
И промежду собою разделяти:
Зазнают гору князи и бояре,
Зазнают гору пастыри и власти,
Зазнают гору торговые люди,
Отоймут у них гору крутую,
Отоймут у них гору золотую...

. . . .

[1]) Там же, стр. 58.

Дай же ты нищим убогим
Имя твое святое.
Будут нищие по миру ходити,
Тебя Христа величати,
В каждый час прославляти...

Толстой хотел бы дать людям именно то, чего просит для нищих Иоанн Златоуст у Христа. Больше ему ничего не нужно. Его учение есть пессимизм на религиозной подкладке, или,—если вы предпочитаете выразиться так,—религия на основе крайне пессимистического мироощущения. С этой стороны оно, как и со всех других, представляет собою прямую противоположность учению Маркса.

Подобно другим материалистам, Маркс был, как нельзя более, далек от той мысли, что «цель жизни вне наслаждений». Уже в книге «Die Heilige Familie» он показал связь социализма (и коммунизма) с материализмом вообще и, в частности, с материалистическим учением о «нравственной правомерности наслаждения». Но у него, как и у большинства материалистов, учение это никогда не имело того эгоистического вида, в каком оно представлялось идеалисту Толстому. Напротив, оно явилось у него одним из доводов в пользу социалистических требований.

«Если человек черпает все свои ощущения, знания и т. д. из внешнего мира и из опыта, приобретаемого от этого мира, то надо, стало быть, так устроить окружающий его мир, чтобы человек получал из этого мира достойные его впечатления, чтобы он привыкал к истинно человеческим отношениям, чтобы он чувствовал себя человеком. Если правильно понятый личный интерес есть основа всякой нравственности, то надо, стало быть, позаботиться о том, чтобы интересы отдельного человека совпадали с интересами человечества. Если человек не свободен в материалистическом смысле этого слова, т.-е. если его свобода заключается не в отрицательной способности избегать тех или иных поступков, а в положительной возможности проявления своих личных свойств, то надо, стало быть, не карать отдельных лиц за их преступления, а

уничтожить противообщественные источники преступлений и отвести в обществе свободное место для деятельности каждого отдельного человека. Если человеческий характер создается обстоятельствами, то надо, стало быть, сделать эти обстоятельства достойными человека» [1]).

Вот научная основа нашего учения о нравственности. Кто сознательно сочувствует ему, тот не может не возмущаться до глубины души теми эклектиками, которые приглашают теперь пролетариат преклониться перед величием нравственной проповеди Толстого. Революционный пролетариат должен отнестись к этой проповеди со строгим осуждением.

Прямо противоположен Марксу Толстой и в своем отношении к религии. Маркс назвал религию тем опием, которым высшие классы стараются усыпить народное сознание, и говорил, что уничтожение религии, как мнимого счастья народа, есть требование его действительного счастья. Энгельс писал: «Мы раз-на-всегда объявляем войну религии и религиозным представлениям». А Толстой считает религию первым условием действительного счастья людей. И напрасно наши «Sozialistische Monatshefte», в лице г. В. Базарова [2]), рассказывают, что Толстой всегда боролся «с верой в сверхчеловеческое начало» и что он «впервые объективировал, т.-е. создал не только для себя, но и для других, ту чисто человеческую религию, о которой Конт, Фейербах и другие представители современной культуры могли только субъективно мечтать» [3]).

---

[1]) См. приложение I (Карл Маркс о французском материализме XVIII в.) к брошюре Фр. Энгельса «Людвиг Фейербах» в моем переводе, Женева 1905 г., стр. 63.

[2]) Редакция «Нашей Зари» заявляет в примечании, что некоторые отдельные положения статьи г. В. Базарова: «Толстой и русская интеллигенция» оставляются ею на ответственности автора. Но, во-первых, она осторожно умалчивает о том, какие именно положения не разделяются ею, а, во-вторых, редакция немецкой «Нашей Зари» (настоящие «Sozialistische Monatshefte») тоже никогда не разделяет «некоторых положений» в статьях своих сотрудников, что не мешает, однако, этим господам всегда стоять на одной точке зрения с нею.

[3]) «Наша Заря», № 10, стр. 48 (курсив г. Базарова).

Была ли у гр. Толстого логическая возможность вести борьбу «с верой в сверхчеловеческое начало», это лучше всего показывают следующие его слова: «Важно то, чтобы признать Бога хозяином и знать, чего Он от меня требует, а что Он сам такое, и как Он живет, я никогда не узнаю, потому что я Ему не пара. Я работник,—Он хозяин» [1]).

Разве же это не проповедь «сверхчеловеческого начала»? А, кроме того, даже ревизионистам пора понять, что всякие толки о «чисто человеческой религии» суть чистые пустяки. «Религия,—говорит Фейербах,—есть бессознательное самосознание человека». Этой бессознательностью обусловливается не только существование религии, но и «вера в сверхчеловеческое начало». Когда бессознательность исчезает, тогда вместе с нею пропадает вера в это начало, а в то же время и возможность существования религии. Если сам Фейербах не ясно понимал, до какой степени это неизбежно, то в этом состояла его ошибка, которая так хорошо разоблачена была Энгельсом.

Чем религиознее было миросозерцание графа Л. Толстого, тем менее совместимо было оно с миросозерцанием социалистического пролетариата.

VI.

Значение толстовской проповеди заключалось не в ее нравственной и не в ее религиозной стороне. Оно заключалось в ярком изображении той эксплоатации народа, без которой не могут существовать высшие классы. Эксплоатация эта рассматривается Толстым с точки зрения того нравственного зла, которое она причиняла своим эксплоататорам. Но это не мешало ему изображать ее со своим обычным, т.-е. гигантским, талантом.

Что хорошего в книге «Царство Божие внутри нас»? То место, где описывается истязание крестьян губернатором. С чем можно согласиться в брошюре «Какова

---

[1]) «Спелые Колосья», стр. 114.

моя жизнь?». Едва ли не только с тем, что говорится в ней о тесной связи даже самых невинных развлечений господствующего класса с эксплоатацией народа. Чем трогает читателя статья «Не могу молчать!»? Художественным описанием казни двенадцати крестьян. Как и все «абсолютно-последовательные» христиане, Толстой—крайне плохой гражданин. Но когда этот крайне плохой гражданин начинает, со свойственной ему силой, анализировать душевные движения представителей и защитников существующего порядка; когда он разоблачает все вольное или невольное лицемерие их беспрестанных ссылок на общественное благо,—тогда на его счет приходится занести огромную гражданскую заслугу. Он проповедует непротивление злу насилием, а те его страницы, которые подобны только что указанным мною, будят в душе читателя святое стремление выставить против реакционного насилия революционную силу. Он советует ограничиваться оружием критики, а эти его превосходные страницы безусловно оправдывают самую резкую критику посредством оружия [1]). Вот что — и только это — дорого в проповеди гр. Л. Толстого.

Но указанные превосходные страницы составляют лишь малую часть того, что было им написано в последние 30 лет. Все остальное,—поскольку это остальное пропитано его нравственно-религиозной тенденцией,—идет вразрез со всеми прогрессивными стремлениями нашего века; все остальное принадлежит к области идеологии, совершенно несовместимой с идеологией пролетариата.

Но замечательное дело! Именно потому, что все остальное принадлежит к области идеологии, совершенно не-

[1]) В драме Лассаля: «Франц фон-Зикинген» Ульрих фон-Гуттен говорит каплану Экалампадиусу: «Напрасно вы так плохо думаете о мече!.. Мечом изгнан из Рима Тарквиний, мечом удален из Эллады Ксеркс, спасены наука и искусство, мечом сражались Давид, Самсон и Гедеон. Мечом было совершено все великое в истории, и, в конце-концов, ему же будет она обязана всеми великими событиями, которые когда-либо в ней совершаются!» (III Akt, 3 Auftritt). Российский пролетариат согласен, конечно, с Ульрихом фон-Гуттеном, а не с капланом (попом) Экалампадиусом.

совместимой с идеологией сознательного пролетариата,— именно поэтому, — идеологи высших классов имели нравственную возможность «преклониться» перед проповедью гр. Л. Толстого. Правда, она клеймила их недостатки. Но тут еще нет очень большой беды. Ведь многие христианские проповедники тоже клеймили недостатки высших классов, однако это не мешает христианству оставаться религией собременного классового общества. Главное—то, что Толстой советует не противиться злу насилием. Если французская палата депутатов «преклонилась» перед Толстым чуть ли не в тот же самый день, когда она «преклонилась» перед Брианом за его энергичную расправу со стачечниками, то это произошло по той простой причине, что толстовская проповедь совсем не пугает эксплоататоров. У них нет никакого основания бояться ее, и, напротив, есть все основания одобрять ее за то, что она доставляет им приятный случай, ничем серьезным не рискуя, «преклониться» перед нею и тем показать себя с хорошей стороны. Разумеется, буржуазия ни за что не «преклонилась» бы перед проповедником вроде Толстого в такое время, когда она сама настроена была на революционный лад. Тогда такого проповедника заменяли бы ее идеологи. Но теперь обстоятельства переменились, теперь буржуазия идет назад, и теперь ее сочувствие наперед обеспечено всякому умственному течению, пропитанному духом консерватизма, а тем более такому, вся практическая сущность которого состоит в «непротивлении злу насилием». Буржуазия (а с нею, конечно, и обуржуазившаяся аристократия наших дней) понимает или, по крайней мере, подозревает, что главное зло настоящего времени и есть эксплоатация ею пролетариата. Как же не «преклоняться» ей перед теми людьми, которые твердят: «Никогда не противьтесь злу насилием»? Если бы крыловского кота, похитившего куренка, спросили, кого он считает лучшим «учителем жизни», то он, наверно, «преклонился» бы перед поваром, который, не борясь со злом насилием, ограничился известными восклицаниями:

Не стыдно ль стен тебе, не только, что людей!..
Кот Васька плут, кот Васька вор... и т. д.

Некоторые последователи Толстого мнят себя крайними революционерами на том весьма шатком основании, что отказываются от военной службы. Однако, во-первых, существующий порядок только выиграл бы в своей прочности, если бы в армию всегда поступали только те, которые готовы защищать его силой оружия; во-вторых, главный враг милитаризма есть классовое самосознание пролетариата и обусловленная им готовность противопоставить реакционному насилию революционную силу. Кто затемняет это самосознание, кто ослабляет эту готовность, тот не враг милитаризма, а друг его, хотя бы он, с упорным формализмом сектанта, всю жизнь отказывался, не боясь преследований, взять солдатское ружье в свои руки.

Что касается русского буржуазного «общества», то оно как раз теперь переживает такое настроение, которое должно было побудить его к «преклонению» перед проповедью гр. Толстого. Оно не только разуверилось в возможности противопоставить силу революционного народа насилию реакционеров; оно более или менее твердо убедилось в том, что подобное противопоставление не в его интересах. Ему хотелось бы окончить свой старый спор с абсолютизмом посредством мирного соглашения. К этому направлена тактика наиболее влиятельных из его «левых» представителей—кадетов. Нравственно-религиозная проповедь гр. Толстого является теперь, при нынешних обстоятельствах, лишь переводом на мистический язык «реалистической» политики г. Милюкова.

С последовательными людьми можно не соглашаться, но нельзя не одобрять их логику. Люди кадетского образа мыслей, по-своему, совершенно правы в своем преклонении перед гр. Толстым. Но что сказать о тех бесчисленных «честных», «образованных» господах, которые, мня себя «левее» кадетов и питая подчас даже террористические симпатии, «шумели» по поводу «исхода» гр. Толстого из Ясной Поляны и умилялись перед мнимым вели-

чием возмутительной мысли, изложенной в статье «Действительное средство»?

Подобные эклектики всегда были жалки, и поделом Чернышевский так едко осмеял их, характеризуя Виктора Гюго. Но особенно жалки они в нынешней России, где едва-едва начинает заканчиваться период упадка, наступивший после бурных событий 1905—1907 г.г. Их умиление перед гр. Толстым напоминает собою религиозность Луначарского, Базарова и К°. Я сказал когда-то, употребив выражение Киреевского, что религиозность эта есть просто-напросто «душегрейка новейшего уныния». Совсем такой же «душегрейкой» является и восторг перед Толстым не как перед великим художником,—это вполне понятный и законный восторг,—а как перед «учителем жизни». В этом унылом костюме, годном лишь для старых баб, считают теперь нужным щеголять даже энергичные люди, принимающие участие в манифестациях. Социал-демократы должны позаботиться о том, чтобы они отказались, наконец, от его употребления.

Гейне был прав, когда говорил, что новому времени новый костюм потребен для нового дела.

P. S. Теперь начинают сравнивать Толстого с Руссо, но такое сравнение может привести лишь к отрицательным выводам. Руссо был диалектиком (один из весьма немногих диалектиков XVIII века); Толстой до конца жизни остался метафизиком чистейшей воды (одним из самых типичных метафизиков XIX столетия). Уподоблять Толстого Руссо может только тот, кто не читал или совсем не понял знаменитого «Discours sur l'inégalité parmis les hommes». В русской литературе диалектический характер взглядов Руссо выяснен уже лет двенадцать тому назад В. И. Засулич.

ЕЩЕ О ТОЛСТОМ [1]).

I.

Л. И. Аксельрод в своей, к сожалению, слишком мало известной русским читателям, книге «Tolstois Weltanschauung und ihre Entwickelung» (Stuttgart 1902) говорит (стр. 13—15), что уже в самых первых произведениях Л. Н. Толстого высказаны многие из составных частей того учения, которое он проповедывал, вызывая так много толков, в последний период своей литературной деятельности. И это совершенно справедливо. Тому, кто усомнился бы в этом, я укажу на один из примеров, приводимых самой Л. И. Аксельрод. Лицо, от имени которого ведется рассказ в знаменитом ряде очерков: Детство, Отрочество, Юность, говорит о себе: «Раз мне пришла мысль, что счастье не зависит от внешних причин, а от нашего отношения к ним, что человек, привыкший переносить страдания, не может быть несчастлив,—и, чтобы приучить себя к труду, я, несмотря на страшную боль, держал по пяти минут в вытянутых руках лексиконы Татищева или уходил в чулан и веревкой стегал себя по голой спине так больно, что слезы невольно выступали на глазах» (стр. 183).

Можно сказать, нимало не опасаясь преувеличения, что здесь мы встречаемся с той самой мыслью, которая руководила гр. Толстым в течение последнего периода его литературной деятельности, того периода, когда он сделался

---

[1]) «Звезда» № 11, 26 февр. 1911 г.

«учителем жизни». Правда, в течение этого периода он никому не рекомендовал держать в вытянутых руках лексиконы Татищева или стегать себя веревкой по голой спине. Но вся его проповедь опиралась на противопоставлении «духа» «телу», «вечного» «временному». А это противопоставление неизбежно ведет к тому выводу, что счастье человека «не зависит от внешних причин», всегда имеющих, разумеется, лишь «временный характер», и Толстой не только не боится этого вывода, но с непоколебимым убеждением повторяет его, особенно там, где им оттеняется противоположность его учения учению социалистов. Социалисты утверждают, что счастье общественного человека зависит от «внешней причины», называемой общественным строем. Поэтому они ставят своей «конечной целью» определенное преобразование этого строя. Гр. Толстому очень не хотелось, чтобы люди этого направления приобрели влияние на рабочий класс. И вот он пишет брошюру «К рабочему народу», где говорится: «Нет ничего вреднее для людей той мысли, что причины бедственности их положения не в них самих, а во внешних условиях. Стоит только человеку или обществу людей вообразить, что испытываемое им зло происходит от внешних условий, и направить свое внимание и силы на изменение этих внешних условий, и зло будет только увеличиваться. Но стоит человеку или обществу людей искренно обратиться на себя и в себе и в своей жизни поискать причины того зла, от которого он или оно страдает, и причины эти тотчас же найдутся и сами собой уничтожатся» (стр. 39).

Сопоставляя эти строки с тем местом из «Отрочества», на которое указывает Л. И. Аксельрод, мы видим, что толстовская проповедь в самом деле является лишь систематическим изложением одной из тех мыслей, которые очень рано приходили в голову гр. Толстому.

Сам Толстой иногда просто говорит, что в начале 80-х годов с ним случился коренной переворот. Но в других местах он выражается определеннее и гораздо точнее. Он говорит: «Со мной случился переворот,

который давно готовился во мне, и задатки которого всегда были во мне» [1]). Это едва ли не самое правильное выражение того, что случилось с автором «Войны и Мира». Нужно только хорошо вдуматься в это выражение.

В чем собственно заключался «переворот», по собственному признанию гр. Толстого, давно готовившийся в нем? «Исповедь» отвечает на это следующим образом: «Со мной случилось то, — говорит он в ней, — что жизнь нашего круга—богатых, ученых—не только опротивела мне, но потеряла всякий смысл. Все наши действия, рассуждения, наука, искусство — все это предстало мне в новом значении. Я понял, что все это—одно баловство, что искать смысла в этом нельзя. Жизнь же всего трудящегося народа, всего человечества, творящего жизнь, представилась мне в ее настоящем значении. Я понял, что это—сама жизнь, и что смысл, придаваемый этой жизни, есть истина, и я принял его» (стр. 43).

Итак, «переворот» состоял, во-первых, в том, что жизнь высшего класса не только опротивела Толстому, но потеряла в его глазах всякий смысл; во-вторых, в том, что жизнь трудящегося народа получила для него большую привлекательность, а смысл, придаваемый трудящимся народом этой жизни, был признан им «истиной». Рассмотрим обе эти стороны «переворота» и постараемся определить, в какой мере каждая из них была подготовлена прежними взглядами нашего автора.

II.

Начнем с высшего класса. В брошюре «Какова моя жизнь?» Толстой сообщает между прочим те размышления, на которые он был наведен большим балом, происходившим в Москве в марте 1884 г., как раз в тот самый день, когда ему пришлось увидеть несколько потрясающих сцен из жизни московской бедноты. Он пишет:

«Ведь, каждая из женщин, которая поехала на этот бал в 150-рублевом платье, не родилась на балу или у m-me

[1]) «Исповедь». Изд. «Донской Речи», стр. 43.

Minangoit, а она жила в деревне и видела мужиков, знает свою няню и горничную, у которых отцы и братья бедные, для которых выработать 150 рублей на избу есть цель длинной трудовой жизни; она знает это; как же она могла веселиться, когда она знала, что она на этом балу носила на своем оголенном теле ту избу, которая есть мечта брата ее доброй горничной?» (стр. 160).

Мы знаем, как могла веселиться каждая из этих нарядных дам. Сам Толстой со своим неподражаемым искусством изобразил нам их психологию. Мы помним, как веселилась Наташа Ростова на балу, происходившем в Петербурге накануне нового 1810 года; мы не забыли и приготовления к нему.

«Наташа ехала на первый большой бал в своей жизни. Она в этот день встала в 8 часов утра и целый день находилась в лихорадочной тревоге и деятельности. Все силы ее с самого утра были устремлены на то, чтобы они все: она, мама, Соня, были одеты, как нельзя лучше. Соня и графиня поручились вполне ей. На графине должно было быть масака бархатное платье, на них двух белые дымковые платья на розовых, шелковых чехлах с розанами в корсаже. Волоса должны были быть причесаны á la gresgue».

Наташа тоже родилась не на балу и не в магазине мод, она тоже жила в деревне,—в своем родовом Отрадном,—и видела мужиков; она тоже знала свою няню и своих горничных, отцы и братья которых, конечно, не могли быть богаты, но тем не менее ей и в голову не приходило спросить себя, сколько стоило то масака бархатное платье, которое должно было быть на ее матери, и те белые дымковые платья на розовых чехлах, в которые должны были одеться она с Соней. А главное,—этот вопрос не возникал, как видно, и у самого Толстого. В превосходном, поистине увлекательном описании сборов Наташи на бал, на него нет и намека.

Толстой продолжает: «Но, положим, она (т.-е. каждая из женщин, которая поехала на бал в 150-рублевом платье. *Г. П.*) могла не сделать этого соображения; но

того, что бархат и шелк, цветы и кружева и платья не растут сами собой, а их делают люди, ведь этого, казалось бы, она не могла не знать. Казалось бы, не могла не знать того, какие люди делают все это, при каких условиях и зачем они делают это. Ведь, она не может не знать того, что швея, с которой она еще бранилась, совсем не из любви к ней делала это платье» [1]).

Это правильно. Но, ведь, и Наташа не могла не знать, что не растут сами собою ни белые дымковые платья на розовых шелковых чехлах, ни бархат «масака». Не могла она не знать и того, что швеи, шившие платья ей, Соне и старой графине, делали это не из любви к ней, а повинуясь какому-то иному чувству. Однако она совсем не останавливалась мыслью на этом. А главное—не останавливал на этом своего внимания и Толстой, так увлекательно и с таким неподражаемым сочувствием описавший ее сборы на бал.

Дальше. В брошюре «Какова моя жизнь?» гр. Толстой следующим образом продолжает свое обличие нарядных дам:

«Но, может быть, они так отуманены, что и этого не соображают. Но уж того, что пять или шесть человек старых, почтенных, часто хворых лакеев, горничных не спали и хлопотали из-за нее, этого уж она не могла не знать. Она видела их усталые, мрачные лица» (стр. 161).

Положим. Однако вспомним, как было с Наташей. «Дело стояло за Наташиной юбкой, которая была слишком длинна; ее подшивали две девушки, обкусывая торопливо нитки. Третья с булавками в губах и зубах бегала от графини к Соне; четвертая держала на высоко поднятых руках все дымковое платье».

Автор «Войны и Мира» повествует об этом с эпическим спокойствием. Видно, что его нимало не смущает здесь вопрос, насколько справедливы такие общественные отношения, при которых одна часть общества осуждена на постоянный труд для того, чтобы доставить другой,

[1]) Какова моя жизнь?», стр. 160.

несомненно меньшей, его части возможность наслаждаться жизнью: одеваться в шелк и бархат, веселиться на балах и т. д. И это мы видим не только там, где речь идет о приготовлениях Наташи к балу.

Описывая псовую охоту Ростовых в Отрадном, Толстой мимоходом сообщает, что их сосед Илагин отдал за свою краснопегую собаку Ерзу три семьи дворовых. И это мимоходное сообщение о беспредельном помещичьем произволе опять делается с эпическим спокойствием, при отсутствии которого описание охоты, даже при всенесомненном мастерстве гр. Толстого, не могло быть таким увлекательным, каким оно вышло в романе «Война и Мир». Значит, было время, когда сам Толстой грешил тем грехом, в котором он впоследствии обвинял «каждую из женщин», ехавшую на бал в 150-рублевом платье: он совершенно так же, как и они, относился к факту эксплоатации одного класса общества другим. Он не мог не знать о существовании этого факта; но он смотрел на него, как на нечто неизбежное, само собой разумеющееся, и потому не только не возмущался им, но даже не считал нужным останавливать на нем свое внимание. Его интересовало тогда не то, что испытывали люди, подвергавшиеся эксплоатации со стороны Ростовых, Илагиных и других членов высшего сословия, а то, как жило это высшее сословие и как пользовалось оно тою возможностью наслаждения, которая создалась для него эксплоатацией крепостных «душ». Он был художественным бытописателем высшего сословия. На трудящееся население страны он смотрел тем взглядом, каким,—по его собственному выражению, употребленному по другому поводу,—глядят на стены: совершенно безучастно. Потом пришло такое время, когда он отказался от этого взгляда и стал смотреть на народ, как на носителя высшей истины. И к этому сводилась, как уже сказано, одна из сторон переворота, пережитого им в начале 80-х годов. Эта сторона в высшей степени интересна. Ведь именно ее наличностью объясняется то обстоятельство, что Толстого стали называть учителем жизни, даже мно-

гие из тех наших общественных деятелей, которые никогда не жили, не будут, не хотят и не могут жить так, как учил Толстой. И точно так же в ней надо искать объяснения того, что после «переворота» наш автор с таким строгим осуждением стал относиться к своему прежнему художественному творчеству: он видел в нем художественное воспроизведение быта народных эксплоататоров и осуждал свою роль идеализатора этого быта. На всем этом очень стоит остановиться.

III.

Граф Л. Н. Толстой, разумеется, никогда не был злым человеком. Как же мог он смотреть на народ тем безучастным взглядом, каким глядят на стены?

Наташа Ростова тоже никогда не была злою. Напротив, ее характер отличался добротою и благонравием. Несмотря на это, ее голова оставалась совершенно недоступной для вопроса о том, почему один класс общества живет на счет другого. Толстой, который в последний период своей литературной деятельности обличал роскошную и праздную жизнь высшего класса, хорошо понимал, однако, что равнодушное отношение людей этого класса к участи трудящегося народа еще не предполагает злого сердца. Сказав, что женщины, поехавшие на бал в 150-рублевых платьях, не могли не знать, какое огромное значение имели бы для крестьянина деньги, брошенные ими на свои наряды, и не могли не видеть, что их удовольствие связано с переутомлением прислуги, Толстой сейчас же прибавляет: «Но я знаю, что они точно не видят этого». И он даже думает, что «их нельзя осудить», так как они слепы «из-за гипнотизации, произведенной над ними балом». Танцующие на балах молодые женщины и девушки делают то, что считается старшими хорошим. Остается, значит, лишь вопрос: «Старшие-то как объяснят свою жестокость к людям?». А на этот вопрос брошюра «Какова моя жизнь?» отвечает ссылкой на характер денежного хозяйства.

«Я помню, видал, — говорит он, — старых, не сантиментальных игроков, которые говорили мне, что игра эта была особенно приятна тем, что не видишь, кого обыгрываешь, как это бывает в других играх; лакей приносит даже не деньги, а марки; каждый проиграл маленькую ставку, и его огорчения не видно. То же и с рулеткой, которая запрещена везде не даром же».

То же и с деньгами, они не только мешают видеть, кого эксплоатируешь, но скрывают от нас самый факт эксплоатации. Те, старшие, примеру которых следуют молодые женщины и девушки, едущие на бал в роскошных платьях, говорят обыкновенно: «Я никого не принуждаю: вещи я покупаю, людей, горничных, кучеров я нанимаю. Покупать и нанимать, — в этом нет ничего дурного. Я не принуждаю никого, я нанимаю; что ж тут дурного!» [1]).

Так, в самом деле, часто рассуждают люди высшего класса там, где господствует денежное хозяйство. Но так не мог рассуждать, например, граф Ростов. Он «*не нанимал*» своих *крепостных*, а между тем, этот несомненно добрый человек с самой спокойной совестью смотрел и на окружавшую его роскошь, и на то, что почти каждое удовольствие его семьи предполагало эксплоатацию чужого труда. Скажу больше.

Сам Толстой показывает нам, что бывают такие положения, когда указанная эксплоатация нисколько не возмущает даже тех, которые ей подвергаются. Когда отправлявшиеся на бал Ростовых заехали за фрейлиной Перонской, то у нее, «как у Ростовых, старая горничная восторженно любовалась нарядом своей госпожи, когда она в желтом платье с шифром вышла в гостиную». Это приводит мне на память рассказ одного путешественника о том, что в некоторых местностях Африки рабы смотрят на побег, как на бесчестное дело, лишающее рабовладельца его законной собственности. Выходит, стало быть, что

---

[1]) «Какова моя жизнь?», стр. 161.

дело не только в гипнотизации, производимой балом, и не только в условиях денежного хозяйства. Власть «гипноза» оказывается чрезвычайно широкой: временами она подчиняет себе не только эксплоататоров, но и эксплоатируемых. И вот эта-то чрезвычайно широкая власть «гипноза» и только она одна и объясняет то, сначала как будто непонятное, психологическое явление, что такой несомненно хороший человек, каким всегда был Л. Н. Толстой, мог быть в течение долгого времени художественным бытописателем высшего сословия и смотреть на эксплоатируемый народ тем безучастным взглядом, каким смотрят на стену: на нем самом сказалось влияние «гипноза». Человек, выросший при данных общественных условиях, склонен считать эти условия естественными и справедливыми до тех пор, пока его понятие не изменится под влиянием каких-нибудь новых фактов, мало-по-малу порождаемых теми же самыми условиями.

IV.

Переворот, пережитый Толстым в начале 80-х г.г., заключался преимущественно в том, что наш великий писатель вышел из того гипнотического состояния, в которое он попал под влиянием окружавшей его общественной среды, и находясь в котором он выступил в нашей литературе как художественный бытописатель высшего сословия. Освободившись от гипноза, он самым резким образом осудил свою художественную деятельность. Это было, разумеется, очень несправедливо; но психологически это было совершенно понятно, как следствие только что пережитого им переворота. Притом же резкость этого суждения в огромной степени увеличилась некоторыми, весьма достойными замечания, особенностями его взглядов и привычек мысли.

Белинский говорит в одном из писем к своим московским друзьям, что «у художественных натур ум уходит в талант, в творческую фантазию,—и потому в своих

твореңиях, как поэты, они страшно, огромно умны; а как люди—ограничены и чуть не глупы (Пушкин, Гоголь)».

Это явно несправедливо по отношению к Пушкину, который был «страшно, огромно умен» не только как художник, но и как человек: то, что Белинский называет здесь его ограниченностью, было на самом деле лишь узостью известных сословных понятий без. критики, усвоенных нашим гениальным поэтом, т.-е. являлось недостатком не отдельного лица, а целого сословия. Кроме того, Белинский выразился бы правильнее, если бы вместо: «как люди» сказал: «как мыслители». С этой поправкой его замечание можно было бы с полным правом применить, например, к Гоголю. Только г. Волынский (см. его книгу «Русские критики») мог не заметить, что в книге «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголь показал себя крайне ограниченным мыслителем. И то же самое приходится, к сожалению, сказать об авторе «Войны и Мира»: его огромный ум до такой степени «ушел в талант, в творческую фантазию», что в роли мыслителя граф Толстой везде обнаруживает почти ребяческую беспомощность. По приемам своего мышления он был типичным метафизиком. «Да — да, нет — нет; что сверх того, то от лукавого»—вот формула, по которой совершаются все операции его мысли. Поэтому он не мог допустить относительной (исторической) правомерности таких общественных отношений, которые заслуживают осуждения с точки зрения нынешних нравственных понятий. Маркс говорит в предисловии к 1-му изданию I тома своего «Капитала», что он менее, нежели кто-нибудь другой, склонен делать отдельного человека ответственным за отношения, продуктом которых он остается даже тогда, когда восстает против них.

Это весьма гуманный взгляд—самый гуманный изо всех возможных. Но до такого гуманного взгляда способен возвыситься только материалист, понимающий, что человек есть продукт окружающих его условий. Толстой никогда не понимал этого. Материалистический взгляд на человека, как на продукт окружающей его среды,—взгляд,

к изложению и защите которого так часто и с такой любовью возвращался в нашей литературе Н. Чернышевский,— представлялся ему в совершенно нелепом виде. Обращаясь к одному из своих корреспондентов, Толстой пишет:

«Вы говорите,—и это говорят многие,—что нельзя надеяться на свои усилия, нельзя надеяться на себя. Простите меня, но это только слова, не имеющие никакого значения ни для меня, ни для вас. То, что человек не должен надеяться на себя, может сказать материалист, представляющий себе человека сцеплением механических сил, подлежащих законам, управляющим материею; но для меня и для вас, как и для всякого религиозного человека, есть живая сила, искра божеская, вложенная в тело и живущая в нем» («Спелые Колосья», стр. 22).

Это так наивно, что вызвало бы одобрение даже со стороны г. Мережковского. И само собою разумеется, «религиозный» писатель, держащийся мнимо-возвышенного убеждения насчет независимости человека от законов, управляющих материей, никогда не будет в состоянии взглянуть на свою собственную деятельность, как на закономерный продукт данного хода общественного развития. Если он заметит в известном периоде этой деятельности какое-нибудь отклонение от того идеала, которому он предан в настоящее время, то он не может увидеть в таком отклонении ничего, кроме греха, угасания «искры божеской, вложенной в тело» и т. п. Так и произошло с гр. Л. Н. Толстым. Тот период его литературной деятельности, в течение которого он был художественным бытописателем высшего сословия, стал представляться ему периодом совершенно неизвинительной слабости. И такими же глазами стал он смотреть на деятельность решительно всех великих художников, в произведениях которых выражались стремления и вкусы высших классов. Первый упрек, делаемый им Шекспиру, заключается в том, что тот не был демократом. Такие же упреки он рассыпает по многим и многим адресам, почти на каждой странице своей книги об искусстве.

V.

Такой взгляд на искусство как будто сближает гр. Л. Н. Толстого с нашими просветителями 60-х г.г. И в самом деле, только что указанная книга сплошь и рядом предъявляет искусству такие же требования, какие предъявила ему в свое время знаменитая диссертация Н. Г. Чернышевского «*Эстетические отношения искусства к действительности*». Но не надо обманываться этим сближением.

Конечно, Толстой вполне согласился бы с Чернышевским, которого он почему-то нигде не называет, в том, что искусство должно объяснять людям смысл жизни. Но его понимание смысла жизни было прямо противоположно тому, к которому пришли просветители. Те были материалистами, считавшими большим и вредным заблуждением христианское пренебрежение к плоти. Толстой был идеалистом, поставившим это пренебрежение в передний угол своего учения о нравственности. Он был так же далек от просветителей 60-х г.г., как и от нынешних марксистов (конечно, я имею в виду лишь тех, которые понимают смысл своего собственного учения).

Впоследствии, возмущаясь своей прежней писательской деятельностью, Толстой говорил:

«Несмотря на то, что я считал писательство пустяками в продолжение этих пятнадцати лет, я все-таки продолжал писать. Я вкусил уже соблазна писательства, соблазна огромного денежного вознаграждения и рукоплесканий за ничтожный труд и предавался ему, как средству к улучшению своего материального положения и заглушению в душе всяких вопросов о смысле жизни моей и общей» («Исп.», стр. 12).

Это страшно несправедливо. Кто же поверит, что только корыстолюбию и тщеславию Толстого мы обязаны такими дивными художественными произведениями, как «Война и Мир» и «Анна Каренина»? [1]).

[1]) И кто не знает теперь, что вовсе не ничтожен был труд написания этих романов.

В этих строках обнаружилась только что указанная мною полная неспособность Толстого посмотреть на свою прежнюю писательскую деятельность с исторической точки зрения. Толстой гремит против самого себя, как гремит религиозный проповедник против «греховодника». Однако тут есть и доля истины и к тому же—чрезвычайно интересной истины. Мы узнаем, что литературный труд заглушал в душе То́лстого «всякие вопросы о смысле жизни». Спрашивается, каким же образом этот труд мог заглушить эти вопросы? Ответ ясен. Для того, чтобы работа Толстого над своими художественными произведениями могла заглушать возникавшие у него вопросы о смысле жизни, необходима была наличность одного условия: противоречие того, что он изображал в своих несравненных художественных образах с тем настроением, которым порождались шевелившиеся у него вопросы. Если бы было иначе, если бы такого противоречия не существовало, то художественное творчество Толстого не только не заглушало бы этих вопросов, а напротив выясняло бы их. Противоречие, несомненно, было. Но откуда оно взялось?

Так как Толстому выпала роль гениального бытописателя высшего сословия, то естественно предположить, что противоречие порождено было более или менее смутным сознанием несправедливости тех привилегий, которыми это сословие пользовалось. Однако это предположение не выдерживает критики. Как уже сказано выше, Толстой того времени смотрел на эксплоатируемых теми равнодушными глазами, какими глядят на стену. Не подлежит сомнению, что из всех действующих лиц романа «Анна Каренина» автор наиболее симпатизирует Константину Левину. Но Левин вполне равнодушен ко всему, что выходит за пределы его семейного благополучия. «Я думаю,— говорит он,—что двигатель наших действий есть все-таки личное счастье».

Он не интересуется земством, потому что не видит от него никакой для себя пользы. Он рассуждает так: «Теперь в земских учреждениях я, как дворянин, не вижу ничего, что бы содействовало моему благосостоянию. До-

роги не лучше и не могут быть лучше; лошади мои везут меня и по дурным. Доктора и пункта мне не нужно. Мировой судья мне не нужен,—я никогда не обращаюсь к нему и не обращусь. Школы мне не только не нужны, но даже вредны. Для меня земские учреждения просто повинность платить восемнадцать копеек с десятины, ездить в город, ночевать с клопами и слушать всякий вздор и гадости, а личный интерес меня не побуждает». Правда, симпатизируя Левину, Толстой изображает его каким-то отрицателем. Но что же отрицает этот, поистине, благородный «дворянин»?

Только некоторые приличия, общепринятые в известном дворянском кругу. Это очень немного, а главное, это еще не обнаруживает ни малейшего интереса к положению народа. Стало быть, не в этом направлении нужно искать тех вопросов, которые шевелились тогда в душе Толстого, и которые шли вразрез с его тогдашней литературной деятельностью. Где же искать их? Обратимся опять к «Исповеди».

VI.

«Прежде,—говорит он в ней,—сама жизнь казалась мне исполненной смысла, и вера представлялась произвольным утверждением каких-то совершенно ненужных мне, неразумных и не связанных с жизнью положений. Я спросил себя тогда, какой смысл имеют эти положения и, убедившись, что они не имеют его, откинул их» (стр. 51).

Тут прежде всего нужно отделить неверное от верного. Толстой сильно преувеличивает, говоря, что было время, когда он был совершенно чужд религии. («Когда я 18-ти лет вышел со второго курса университета, я не верил уже ни во что из того, чему меня учили».) На самом деле, весь характер его литературной деятельности последнего периода показывает, что христианское учение оставило в его душе гораздо более глубокий след, нежели он думал. Как справедливо заметила Л. И. Аксельрод, это хорошо видно из следующего места в очерке «Детство».

Речь идет там о впечатлении, произведенном на главного героя очерка юродивым Гришей:

«Много воды утекло с тех пор, много воспоминаний о былом потеряли для меня значение и стали смутными мечтами, даже и странник Гриша давно окончил свое последнее странствование, но впечатление, которое он произвел на меня, и чувство, которое возбудил, никогда не умрут в моей памяти.—О, великий христианин Гриша! Твоя вера была так сильна, что ты чувствовал близость Бога; твоя любовь так велика, что слова сами собою лились из уст твоих,—ты их не поверял рассудком...» (стр. 43).

Эти строки были написаны в такое время, когда Толстой был, по его словам, совершенно неверующим.

Я знаю, что они написаны не от лица автора; но, совершенно оставляя в стороне вопрос о том, в какой мере «Детство, Отрочество и Юность» имеют автобиографическое значение, я утверждаю, что строки эти не мог написать человек, в самом деле разделавшийся с христианской религией. Христианство сообщило Толстому свой аскетический взгляд на человеческую жизнь, и с этим взглядом он не расставался даже тогда, когда склонился к весьма поверхностному, впрочем, неверию. А между тем, он страшно любил жизнь во всех ее здоровых проявлениях [1]). Его огромная любовь к жизни сказалась как в постоянно мучившем его страхе смерти, так и в той непреодолимой, захватывающей увлекательности, с которой он описывает события, вроде сборов Наташи Ростовой на бал, катания ряженых на святках или,— чтобы взять пример из другого произведения,—жизнерадостное настроение молодого жеребенка («Холстомер»). Но любовь к жизни противоречит христианско-аскетическому ее отрицанию. Вот это-то противоречие давало себя чувствовать Толстому, когда он писал свои бессмертные романы. Христианин, в глазах которого земная жизнь человека

[1]) В этом он противоположен Достоевскому, которого интересовали преимущественно болезненные процессы жизни.

является лишь более или менее удобным этапом на пути в царство небесное, боролся в нем с язычником, которому жизнь эта «казалась исполненной смысла». До поры до времени язычник брал верх над христианином: Толстой с увлечением предавался художественной деятельности. Но христианин никогда не умирал в нем: религиозные искания великого художника наложили свою яркую печать на стремления Пьера Безухова в «Войне и Мире», а христианское пренебрежение к грешным «мирским» интересам человечества выразилось в эгоистическом чудачестве Константина Левина в «Анне Карениной». Потом пришло такое время, когда христианин окончательно восторжествовал над язычником. Какое настроение овладело тогда Толстым, видно из следующих строк его «Исповеди»: «Теперь... я твердо знал, что жизнь моя не имеет и не может иметь никакого смысла, и положения веры не только не представлялись мне ненужными, но я несомненным опытом был приведен к убеждению, что только эти положения веры дают смысл жизни» (стр. 151). Если жизнь сама по себе не имеет никакого смысла; если «только положения веры дают смысл жизни», то ясно, что лишено всякого смысла и то увлечение Наташи сборами на бал, которое так сочувственно изображено в «Войне и Мире», или та беспредельная радость жизни, которая охватила ту же Наташу на охоте и которая заставила ее дико визжать от полноты возбуждения. Ну, а если не имеет никакого смысла многообразная радость жизни, *взятая сама по себе*, то не имеет смысла также и *ее художественное изображение*. Таким образом торжество христианина над язычником в душе гр. Толстого должно было поставить его в резко-отрицательное отношение к его прежней художественной деятельности.

VII.

Теперь мы видим, что отрицательное отношение гр. Толстого к той жизни высшего сословия, которую он прежде так увлекательно изображал в своих художествен-

ных произведениях, действительно, имело свой задаток в прежних взглядах Толстого. Оно коренилось в христианском отрицании всякой жизни вообще, поскольку она не служит подготовкой к загробному существованию. Когда Толстой в брошюре «Какова моя жизнь?» громил дам, ехавших на бал в дорогих нарядах, он аргументировал почти как социалист. Его главным поводом был довод об эксплоатации человека человеком, и, несомненно, настойчивое обращение Толстого к этому доводу доказывает сильное влияние на него социализма, но это сильное влияние осталось поверхностным. Оно могло по временам видоизменять аргументацию Толстого, но не могло ни на волос изменить его миросозерцания. Почему достойна осуждения эксплоатация человека человеком?.. Чтобы понять это, надо вспомнить, как защищает Толстой в брошюре «К рабочему народу» свое учение о непротивлении злу насилием. Он советует рабочим не участвовать в насильственных действиях «не потому, что это для рабочих невыгодно и производит их порабощение, а потому, что участие это есть дурное дело, от которого должен воздерживаться всякий человек» (стр. 22). Но если данные поступки людей дурны не потому, что они вредят интересам их ближних,—чтобы остаться в пределах примера, взятого самим Толстым, скажу: не потому, что они ведут к порабощению одного класса другим,—а только потому, что они дурны сами по себе, то где же надо искать критерия добра и зла? На этот вопрос Толстой дает ответ, вполне гармонирующий со всем его миросозерцанием, основанным на противопоставлении «духа» «телу», «вечного» «временному» и «мирскому». Критерий добра и зла обязан своим происхождением не земле, а небу, не людям, а высшему существу.

«Жизнь мира совершается по чьей-то воле, — учит Толстой,—кто-то этой жизнью всего мира и нашими жизнями делает свое какое-то дело. Чтобы иметь надежду понять смысл этой воли, надо прежде всего исполнить ее, делать то, чего от нас хотят. А если я не буду делать то, чего хотят от меня, то и не пойму никогда

того, чего хотят от меня, а, уж тем менее,—чего хотят от всех нас и от всего мира» («Исп.», стр. 45).

Зародыш такого отношения к вопросам нравственности тоже коренился, конечно, в прежних настроениях Толстого, например, в том, которым продиктован был вышеприведенный отзыв о юродивом Грише. Понятно, что когда христианин победил в Толстом язычника, то великий писатель земли русской уже не мог сомневаться в правильности такого отношения.

Он окончательно решил, что критерий добра и зла надо искать не на земле, а на небе. С другой стороны, понятно и то, что, раз придя к этому окончательному решению, Толстой должен был взглянуть на жизнь трудящегося народа, как на жизнь, исполненную глубочайшего смысла.

Не надо обманывать себя. Главная привлекательность народной жизни состояла для Толстого не в том, что народ живет трудами рук своих, а в том, что этот труд освящается религиозной верой. Толстой говорит: «И я стал вглядываться в жизнь и верования этих людей, и чем больше я вглядывался, тем больше убеждался, что у них есть настоящая вера, что вера их необходима для них и одна дает им смысл и возможность жизни. В противоположность того, что я видел в нашем кругу, где возможна жизнь без веры и где из 1.000 едва ли один признает себя верующим, в их среде едва ли один не верующий на тысячи. В противоположность того, что я видел в нашем кругу, где вся жизнь проходит в праздности, потехах и недовольстве жизнью, я видел, что вся жизнь этих людей проходила в тяжелом труде, и они были довольны жизнью. В противоположность тому, что люди нашего круга противились и негодовали на судьбу за лишения и страдания, эти люди принимали болезни и горести без всякого недоразумения, противления, а спокойною и твердою уверенностью в том, что все это должно быть и не может быть иначе, что все это—добро» («Исп.», стр. 42).

Это понятно; гр. Толстой иначе и не мог смотреть на

народ. Кто противопоставляет «дух» «телу», «вечное» «временному», для того самые жгучие вопросы общественной жизни имеют интерес лишь постольку, поскольку они касаются его религиозного верования. Нам, совершенно отрицающим правомерность названного противопоставления, ясно, что в рассуждения Толстого забралось здесь одно неосновательное обобщение. Наш великий художник очень ошибался, думая, что трудящаяся масса всегда и везде относится к своим страданиям и лишениям с спокойной и твердой уверенностью в том, что все это должно быть и не может быть иначе, что все это—«добро». Так она относится к ним лишь при известных общественных условиях, вызывающих весьма значительную отсталость ее самосознания. Но самосознание изменяется с изменением общественных условий. Мало-по-малу масса расстается с тем квиетизмом, который привлек к ней горячие симпатии Толстого. Промышленный рабочий класс реагирует на свои лишения и страдания совсем не так, как реагировал на них крестьянин доброго старого времени. Но когда Толстой говорил: «народ», он разумел именно крестьянина доброго старого времени, представлявшегося ему в виде все выносящего и все прощающего Платона Каратаева (в «Войне и Мире»). Современный пролетарий совсем не похож на Платона Каратаева. Поэтому Толстой смотрел на современного пролетария, как на печальную ошибку в ходе общественного развития. Если бы он способен был серьезно заинтересоваться общественной жизнью и деятельно вмешаться в нее, то он непременно начал бы с того, что попытался бы повернуть назад колесо истории. Его «мирское» сочувствие,—а такое сочувствие всегда есть, даже у человека, взор которого, повидимому, совершенно прикован к вечному,—направлено было в прошлое, а не в будущее. Он отрицал не все прошлое, а только одну из его сторон, и это отрицание одной из сторон прошлого дополнялось у него идеализацией другой стороны. «Переворот», который случился с ним в начале 80-х г.г., и зародыши которого давно уже зрели в его душе, не облегчил ему понимания будущего, а, напротив, сделал

такое понимание совсем для него недоступным. Вот почему нельзя не подивиться наивности г. П. Ш., который в № 8 «Киевской Мысли» за нынешний год (см. статью «Памяти Одинокого»), уверяет, что «слово» Толстого обращено к далеким поколениям и непременно «дойдет» до них. Оно, пожалуй, и в самом деле, «дойдет», но только тогда, когда наша планета начнет, согласно весьма вероятным предсказаниям некоторых естествоиспытателей, клониться к упадку, и человечество, в своем отступлении назад, опять приблизится к тому положению, в котором находилась некогда крепостная Россия. А при этом условии предсказания сентиментального г. П. Ш. оказываются довольно сомнительным комплиментом.

НАШИ СОВРЕМЕННЫЕ ПОПЫТКИ ОСНОВАНИЯ РЕЛИГИЙ, СВОБОДНЫХ ОТ «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОГО» ЭЛЕМЕНТА[1]).

Л. Н. Толстой.

Я не намерен здесь входить в разбор учения Л. Н. Толстого. Это неуместно, да и не нужно, так как его ученье очень хорошо разобрано в книге Л. Аксельрод: «Tolstois Weltanschauung und Entwickelung» [2]). Я хочу только коснуться религии Толстого, да и то с той лишь ее стороны, которая имеет отношение к интересующему меня здесь вопросу об анимизме.

Сам Л. Н. Толстой считает свою религию свободной от всякого «сверхъестественного» элемента. Сверхъестественное есть для него синоним бессмысленного и неразумного. Он смеется над людьми, привыкшими считать «сверхъестественное, т.-е. бессмысленное», главным признаком религии. «Утверждать, что сверхъестественность и неразумность составляют основные свойства религии,—говорит он,—все равно, что, наблюдая только гнилые яблоки, утверждать, что дряблая горечь и вредное влияние на желудок есть основное свойство плода яблока» [3]). Что же такое религия, по мнению Л. Н. Толстого.

Ответ: религия есть определение отношения человека к началу всего и вытекающего из этого положения на-

---

[1]) Отрывок из статьи «Еще о религии»—«От обороны к нападению», стр. 227.

[2]) Статьи Л. Аксельрода о Толстом изданы Москов. отд. Госиздата в 1922 г. (Л. Аксельрод-Ортодокс, «Л. Н. Толстой», М. 1922 г., стр. 160).

[3]) Л. Н. Толстой «Что такое религия и в чем ее сущность?». Изд. «Свободн. Слова», 1902 г., стр. 48.

значения человека и из этого назначения правил поведения» [1]).

В другом месте того же сочинения Л. Н. Толстой дает следующее определение религии: «Истинная религия есть такое, согласное с разумом и знанием человека, установленное им отношение к окружающей его бесконечной жизни, которое связывает его жизнь с этой бесконечностью и руководит его поступками» [2]).

На первый взгляд эти, в сущности, совершенно тождественные между собой определения религии кажутся очень странными. Они неизбежно вызывают вопрос: да почему же это называется религией? Определить свое отношение к «началу всего» или (согласно второму определению) к «бесконечной жизни», окружающей человека, еще не значит положить основу религиозного миросозерцания. И точно так же руководиться в своем поведении своим взглядом на «начало всего» (на «бесконечную жизнь»), еще не значит быть религиозным. Вот, например, Дидро очень старательно определял «свое отношение к началу всего» и строил на его определении свою этику: но он в тот период своей жизни, когда его взгляд на «начало всего» сделался взглядом убежденного материалиста,—совсем не был религиозен. В чем же тут дело? Мне кажется, что все дело тут в одном слове: «назначение». Л. Н. Толстой думает, что, определив свое отношение к «началу всего», человек тем самым определит свое «назначение». Но «назначение» предполагает, во-первых, тот предмет или то существо, которому оно дается,—в интересующем нас случае, человека,—а, во-вторых, то существо или ту силу, которое (или которая) дает человеку его «назначение». И это существо или эта сила, очевидно, обладает сознательностью: иначе оно не могло бы давать человеку его «назначение», ставить перед ним определенную задачу. Как же мы должны представлять себе это созна-

---

[1]) Цит. соч., стр. 48—49.

[2]) Там же, стр. 11. Подчеркнуто у Толстого.

тельное существо. На этот вопрос мы тоже находим ясный ответ у Толстого. Ему не нравится нынешнее преподавание религии. По его мнению, не следует внушать детям и подтверждать взрослым «веру в то, что бог послал сына своего, чтобы искупить грехи Адама, и установил свою церковь, которой надо повиноваться» [1]). Он убежден, что несравненно лучше было бы, если бы детям «внушалось и подтверждалось то, что Бог есть дух, проявление которого живет в нас и силу которого мы можем увеличить своей жизнью» [2]). Но внушать детям, что бог есть дух, проявление которого живет в нас, значит сообщать им известные анимистические представления. Таким образом оказывается, что сознательное существо, давшее человеку его назначение, есть дух. Что же такое дух? Об этом я достаточно говорил в первой статье [3]). Здесь я могу ограничиться тем замечанием, что если дух есть, как мы знаем, такое существо, волей которого причиняются явления природы, то он стоит над природой, т.-е. должен быть признан сверхъестественным существом [4]). А это значит, что ошибается Л. Н. Толстой, считая свою религию свободной от веры в «сверхъестественное».

Что же ввело его в ошибку? В его представлении «сверхъестественное» отождествилось с «бессмысленным» и неразумным. А так как его собственная вера в бытие бога, который «есть дух», не только не казалась ему бессмысленной и неразумной, но, напротив, считалась им за проявление самого здравого смысла и самого высшего разума,

---

[1]) Цит. соч., стр. 50.

[2]) Там же, та же стр.

[3]) Речь идет о первой статье «О так-называемых религиозных исканиях в России», которая под заголовком «О религии» была перепечатана в сборнике «От обор. к нап.», стр. 185.

Ред.

[4]) (Вера в то, что бог существует, или, что то же самое, что бог сотворил мир и управляет им, представляет собой не что иное, как веру, т.-е. в данном случае убеждение или представление, что мир, природа управляются и движутся не естественными силами или законами, а теми же силами и основаниями, что и человек) (L. Feuerbach Werke IX, S. 334).

то он и решил, что в его религии нет места для «сверхъестественного». Он позабыл или не знал, что верить в «сверхъестественное» именно и значит признавать существование духов или духа (что совершенно все равно). В различные исторические эпохи вера в духов (анимизм) принимает до такой степени различный вид, что люди одной из них считают бессмыслицей ту веру в «сверхъестественное», которая считалась проявлением высшего разума в продолжение другой или даже нескольких других. Но эти недоразумения между людьми, стоявшими на точке зрения анимизма, нимало не устраняли основного характера верования, общего им всем; верование это было верой в существование одной или нескольких сверхъестественных» сил. И только потому, что всем им свойственна была такая вера, все они имели религию. Религии, чуждой анимистических представлений, до сих пор не было да и быть не может: свойственные религии представления всегда имеют более или менее анимистический характер. Пример религии Л. Н. Толстого может служить новым доказательством этой истины. Л. Н. Толстой — анимист, и его нравственные стремления окрашиваются в религиозный цвет лишь в той мере, в какой они сочетаются с верой в бога, который есть «дух», и который определил назначение человека.

ОТРЫВОК ИЗ ПЕРВОГО «ПИСЬМА БЕЗ АДРЕСА» [1]).

Милостивый Государь.

У нас с вами речь пойдет об искусстве. Но во всяком, сколько-нибудь точном исследовании, каков бы ни был его предмет, необходимо держаться строго определенной терминологии. Поэтому мы прежде всего должны сказать, какое именно понятие мы связываем со словом искусство. С другой стороны, несомненно, что сколько-нибудь удовлетворительное определение предмета может являться лишь в результате его исследования. Выходит, что нам надо определить то, чего определить мы еще не в состоянии. Как же выйти из этого противоречия? Я думаю, что из него можно выйти вот как: я остановлюсь пока на каком-нибудь временном определении, а потом стану дополнять и поправлять его по мере того, как вопрос будет выясняться исследованием.

На каком же определении мне пока остановиться?

Лев Толстой в своей книге: «Что такое искусство» приводит множество, как ему кажется, противоречащих один другому определений искусства и все их находит неудовлетворительными. На самом деле, приводимые им определения далеко не так отстоят одно от другого и далеко не так ошибочны, как ему это кажется.

---

1) Г. В. Плеханов перепечатал свое первое «Письмо без адреса» в сборнике «За двадцать лет» под заглавием «Об искусстве», пропустив приведенные ниже начальные страницы статьи. Не сочла нужным восстановить их и редакция сборника его статей «Искусство»; мы приводим здесь этот отрывок из «Научного Обозрения», № 11, ноябрь 1899 г.

Но допустим, что все они действительно очень плохи, и посмотрим, нельзя ли нам будет принять его собственное определение искусства.

«Искусство,—говорит он,—есть одно из средств общения людей между собой... Особенность же этого общения, отличающая его от общения посредством слова, состоит в том, что словом один человек передает другому свои мысли (курсив мой), искусством же люди передают друг другу свои чувства» (курсив опять мой).

Я, с своей стороны, замечу пока только одно.

По мнению гр. Толстого, искусство выражает чувства людей, слово же выражает их мысли. Это неверно. Слово служит людям не только для выражения их мыслей, но также и для выражения их чувств. Доказательство: поэзия, органом которой служит именно слово. Сам гр. Толстой говорит: «Вызвать в себе раз испытанное чувство и, вызвав его в себе, посредством движений, линий, красок, образов, выраженных словами, передать это чувство так, чтобы другие испытали то же чувство,—в этом состоит деятельность искусства»[1]. Уже отсюда видно, что нельзя рассматривать слово, как особый, отличный от искусства, способ общения между людьми.

Неверно также и то, что искусство выражает только чувства людей. Нет, оно выражает и чувства их, и мысли, но выражает не отвлеченно, а в живых образах. И в этом заключается его самая главная отличительная черта. По мнению гр. Толстого «искусство начинается тогда, когда человек, с целью передать другим людям испытанное им чувство, снова вызывает его в себе известными внешними знаками и выражает его»[2]. Я же думаю, что искусство начинается тогда, когда человек снова вызывает в себе чувства и мысли, испытанные им под влиянием окружающей его деятельности, и придает им известное образное выражение.

---

[1]) Сочинен. гр. Толстого. Произведения самых последних лет. Москва 1896 г., стр. 78.

[2]) Ibib., стр. 77.

Само собою разумеется, что в огромнейшем большинстве случаев он делает это с целью передать передуманное и перечувствованное им другим людям. Искусство есть общественное явление.

Указанные мною поправки исчерпывают пока то, что мне хотелось бы изменить в определении искусства, даваемом гр. Толстым.

Но я попрошу вас, милостивый государь, заметить еще следующую мысль автора «Войны и Мира».

«Всегда, во всякое время и во всяком человеческом обществе есть общее всем людям этого общества религиозное сознание того, что дурно и что хорошо, и это-то религиозное сознание и определяет достоинство чувств, передаваемых искусством» [1]).

Наше исследование должно показать нам, между прочим, насколько справедлива эта мысль, которая во всяком случае заслуживает величайшего внимания, потому что она вплотную подводит нас к вопросу о роли искусства в истории развития человечества.

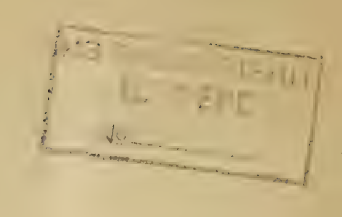
Теперь, когда мы имеем некоторое предварительное определение искусства, мне необходимо выяснить ту точку зрения, с которой я смотрю на него [2]).

---

[1]) Ibib., стр. 85.

[2]) *Дальше следует текст, как он воспроизведен в сб. «За двадцать лет».* *Ред.*

СОДЕРЖАНИЕ.



Толстовский Музей.

Главлит № 16066. Тираж 3.000 экз

Типография Центросоюза. Москва, Денисовский, пер., д. 30

ТОЛСТОВСКИЙ МУЗЕЙ.

ТОЛСТОЙ
и
о ТОЛСТОМ.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

Редакция Н. Н. ГУСЕВА.

МОСКВА.
1924

ОГЛАВЛЕНИЕ.

I. ТОЛСТОЙ.

II. О ТОЛСТОМ.

III. БИБЛИОГРАФИЯ.

ТОЛСТОЙ.



1907 г.

С неизданной фотографии В. Г. Черткова.

КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА.

Неизданная глава.

От редакции.

Помещаемая ниже XV-я глава „Крейцеровой Сонаты“ извлечена из рукописи этой повести, хранящейся в Московском Толстовском Музее и переписанной, главным образом, рукою Софии Андреевны, Татьяны Львовны и Марии Львовны с поправками Льва Николаевича. Эта глава отмечена Л. Н-чем обозначением: „пр.“, что значило — пропустить. Так Л. Н. обозначал в своих произведениях те места, которые, по его мнению, нарушали стройность общего изложения, но которые вместе с тем ему жаль было вычеркивать. Таким образом, глава эта, по мнению самого автора, несомненно имеет художественный интерес и значение.

Ред.

XV.

Да, ревность это еще одинъ изъ всѣмъ извѣстныхъ и отъ всѣхъ скрываемыхъ секретовъ супружества. Кромѣ общей причины ненависти другъ къ другу супруговъ, заключающейся въ соучастіи оскверненія человѣческаго существа, и еще другихъ причинъ, источникъ постоянной грызни супруговъ между собой есть еще взаимная ревность. Но по взаимному соглашенію рѣшено скрывать это отъ всѣхъ, и такъ и скрывается. Зная это, каждый про себя предполагаетъ, что это только его несчастная особенность, но не общій удѣлъ. Такъ было и со мной. Оно такъ и должно быть. Ревность не можетъ не быть между супругами, безнравственно живущими между собой. Если они оба не могутъ пожертвовать своимъ удовольствіемъ для блага своего ребенка, то оба справедливо заключаютъ, что они никакъ не пожертвуютъ своимъ удовольствіемъ для, не скажу блага или спокойствія (потому что

можно грѣшить такъ, что не узнаютъ), а только для добросовѣстности. Каждый хорошо знаетъ про другого, что сильныхъ нравственныхъ препятствій для измѣны нѣтъ ни у того, ни у другого, знаютъ это потому, что другъ съ другомъ нарушаютъ нравственныя требованія, и потому они не вѣрятъ другъ другу и вѣчно ревнуютъ другъ друга. Такъ и мы, т.-е. я и жена, мучительно ревновали другъ друга.

Охъ, какое это ужасное чувство—ревность! Я не говорю о той настоящей ревности, которая имѣетъ хоть какое-либо основаніе, эта ревность настоящая мучительна, но она имѣетъ и обѣщаетъ исходъ, но я говорю о той безосновательной ревности, которая неизбѣжно сопутствуетъ всякому безнравственному супружеству, и которая, не имѣя причины, не имѣетъ и конца. То нарывъ, а это одинъ зубъ болитъ своей костяной неподвижной болью день, ночь и опять день, ночь, и такъ безъ конца. Ревность эта ужасна, именно ужасна. Ревность эта такая: молодой мужчина говоритъ съ женой, улыбаясь смотритъ на нее и, какъ мнѣ кажется, оглядываетъ ея тѣло. Какъ онъ смѣетъ думать про нее, думать про возможность романа съ ней? И какъ она, видя это, можетъ переносить это? Но она не только переноситъ, она, видимо, очень довольна. Даже я вижу, что она для него, только для него дѣлаетъ то, что она дѣлаетъ.

И въ душѣ поднимается такая ненависть къ ней, что всякое слово, всякій жестъ ея противенъ. Она замѣчаетъ это и не знаетъ, что ей дѣлать, и начинаетъ дѣлать видъ равнодушнаго оживленія.—А! я страдаю, а ей это-то и весело, она очень довольна! И ненависть удесятеряется, но не смѣешь дать ей хода, потому что въ глубинѣ души знаешь, что настоящихъ поводовъ нѣтъ. И сидишь, притворяешься равнодушнымъ, напускаешь на себя особенное вниманіе и учтивость къ нему. Потомъ самъ на себя сердишься и хочешь выйти изъ комнаты и оставить ихъ однихъ, и дѣйствительно выходишь. Но стоитъ выйти—и тебя охватываетъ ужасъ о томъ, что тамъ безъ тебя дѣлается. Входишь опять, придумываешь предлогъ, а иногда не входишь, и останавливаешься у двери и подслушиваешь.—Какъ она можетъ такъ унижать себя и меня, ставя кого же?—меня!—въ такое под-

лое положеніе—подозрѣванья, подкарауливанья! О мерзкая, о животное гадкое! А онъ! онъ!.. Онъ—что же онъ? то, что всѣ мужчины, что былъ я, когда не былъ женатъ.

Ему это удовольствіе. Онъ даже улыбается, глядя на меня, какъ будто говоритъ: «что же дѣлать, теперь мой чередъ». Ужасное это чувство. Ядовитость этаго чувства ужасна; стоило мнѣ излить это чувство хоть разъ на какого-нибудь человѣка, стоило разъ заподозрѣть человѣка въ замыслахъ на мою жену—и уже навѣки этотъ человѣкъ былъ для меня испорченъ, точно сѣрной кислотой облитъ. Стоило мнѣ хоть разъ приревновать человѣка—и ужъ никогда я не могъ возстановить къ нему простыхъ, человѣческихъ отношеній. Навѣки ужъ у меня съ нимъ бѣгаютъ мальчики въ глазахъ, когда мы глядимъ другъ на друга.

Жену же, которую я много и много разъ обливалъ этой сѣрной кислотой, этой ревнивой ненавистью, я уже всю изуродовалъ. Въ періодъ этой моей безосновательной ревности къ ней, я всю ее развѣнчалъ, испозорилъ въ моемъ воображеніи. Я придумывалъ всѣ самыя невозможныя плутни съ ея стороны. Я подозрѣвалъ ее въ томъ, что (совѣстно сказать!) что она, какъ эта царица «Тысячи и одной ночи», измѣняетъ мнѣ съ рабомъ, почти на моихъ глазахъ, смѣясь надо мной. Такъ что во всякій новый приливъ ревности (я все говорю о безосновательной ревности) я впадалъ въ прорытую уже прежнюю колею грязныхъ подозрѣній о ней; и все глубже и глубже прорывалъ эту колею. То же дѣлала и она.

Если я имѣлъ основанія ревновать, то она, зная мое прошедшее, имѣла ихъ во 100 разъ больше. И она еще хуже ревновала меня. И страданія, испытываемыя мною отъ ея ревности, были хотя и другія, но тоже очень и очень тяжелыя. Живемъ мы другой разъ болѣе или менѣе спокойно, я даже веселъ, доволенъ, вдругъ начинается разговоръ о самомъ обыкновенномъ, и вдругъ она не соглашается съ тѣмъ, съ чѣмъ всегда, бывало, соглашалась. Мало того, я вижу, она безъ всякой надобности хочетъ уязвить меня. Думаю, что она не въ духѣ, или точно ей непріятно то, о чемъ говоримъ. Но начинается разговоръ о другомъ, и опять то же, опять цѣпляетъ, опять раздраженіе. Я удивляюсь, ищу: что?

отчего? Она молчитъ, отвѣчаетъ односложно или говоритъ, очевидно, намекая на что-то. Я начинаю догадываться, что причина та, что я прошелъ по саду съ ея кузиной, о которой я и думать не думалъ, или что-нибудь подобное. Я начинаю догадываться, но сказать этого нельзя. Тѣмъ, что я скажу, я подтвержу ея подозрѣнія. Я начинаю допытываться, спрашивать. Она не отвѣчаетъ, а догадывается, что я понимаю, и еще болѣе утверждается въ своихъ подозрѣніяхъ.

— Что съ тобой?—говорю я.

— Ничего. Я такая же, какъ всегда,—говоритъ она, а сама говоритъ безсмысленныя, ничѣмъ необъяснимыя злыя вещи.

Терпишь иногда, но иногда прорвется, раздражишься, и тогда прорывается и ея раздраженіе и выливается потокъ злыхъ словъ и какое-нибудь уличеніе тебя въ воображаемомъ преступленіи. И все это доведенное до самой превосходной степени съ рыданіями, слезами, бѣганіемъ изъ дома въ самыя необычныя мѣста. Начинаешь искать. Совѣстно передъ людьми, дѣтьми, но дѣлать нечего. Она въ такомъ состояніи, что ты чувствуешь—она на все готова. Бѣгаешь за ней, отъискиваешь. Проходятъ мучительныя ночи. И оба съ истерзанными нервами, наконецъ, послѣ самыхъ жестокихъ словъ и обвиненій, наконецъ, затихаемъ.

Да-съ, ревность, безосновательная ревность, это — условіе нашей развращенной брачной жизни.

ПРАВДИВОСТЬ.

ВЫПУЩЕННЫЕ ПО ЦЕНЗУРНЫМ СООБРАЖЕНИЯМ МЕСТА ИЗ 26-ой ГЛАВЫ «ПУТИ ЖИЗНИ».

От редакции.

В 1911 году в издании «Посредника» появился последний большой труд Льва Николаевича «Путь Жизни», в котором он, в ряде изречений, взятых из разных мыслителей, а также и своих собственных, систематически изложил все свое жизнепонимание. По цензурным условиям того времени, труд этот появился с большими пропусками, сделанными издателем для того, чтобы книга не была конфискована. Печатаемые пропуски были сделаны в одной из глав «Пути Жизни» (26-ой), носящей название «Правдивость». Поставленные перед мыслями римские цифры означают нумерацию глав, а арабские—нумерацию мыслей в главах. Мысли неподписанные принадлежат самому Л. Н. Толстому.

Гл. I. 10. Всѣ суевѣрія: и закона Бога, и государства, и науки суть только извращенія мысли, и потому избавленіе отъ нихъ возможно только приложеніемъ къ нимъ требованій истины, открываемой разумомъ.

Гл. III. 4. Высшая степень насилія, это — установленіе одними людьми такого закона, который не подлежитъ обсужденію другихъ и долженъ быть принятъ на вѣру. Для чего это можетъ быть нужно людямъ?

5. Основа всякой власти — насиліе, основа христіанства—любовь. Государство, это—принужденіе, христіанство—убѣжденіе.

Кунингамъ Гейкей.

Гл. Ш, 6. Христосъ не основывалъ никакой церкви, не устанавливалъ никакого государства, не далъ никакихъ законовъ, никакого правительства, ни внѣшняго авторитета, но онъ старался написать законъ Бога въ сердцахъ людей съ тѣмъ, чтобы сдѣлать ихъ самоуправляющимися.

Гербертъ Ньютонъ.

7. Просматривая исторію человѣчества, мы то-и-дѣло замѣчаемъ, что самыя явныя нелѣпости сходили для людей за несомнѣнныя истины, что цѣлыя націи дѣлались жертвами дикихъ суевѣрій и унижались передъ подобными себѣ смертными, нерѣдко передъ идіотами или сластолюбцами, которыхъ ихъ воображеніе превращало въ представителей Божества; видимъ, что целые народы изнывали въ рабствѣ, страдали и умирали съ голоду ради того, чтобы люди, жившіе ихъ трудами, могли вести праздную и роскошную жизнь. И причиной такихъ нелѣпостей и страданій людскихъ всегда было одно: принятіе на вѣру того, что даже малымъ дѣтямъ не могло не представиться неразумнымъ.

По Генри Джорджу.

8. Нашъ вѣкъ—истинный вѣкъ критики. Все принятое на вѣру провѣряется критикой.

Религія и законодательство обыкновенно думаютъ ускользнуть отъ критики. Первая—съ помощью своей святости, второе—съ помощью своего величія.

Но въ такомъ случаѣ они возбуждаютъ противъ себя справедливое подозрѣніе и не могутъ разсчитывать на непритворное уваженіе, потому что разумъ относится съ уваженіемъ только къ тому, что въ состояніи выдержать его свободное всенародное испытаніе.

Кантъ.

Гл. IV, 2. Странное дѣло! Во всѣ времена негодяи старались маскировать свои гнусные поступки преданностью интересамъ религіи, морали и патріотизма.

Гейне.

6. А вы не называйтесь учителями, ибо одинъ у васъ учитель—Христосъ, всѣ же вы братья; и отцомъ себѣ не называйте никого на землѣ, ибо одинъ у васъ Отецъ, который на небесахъ; и не называйтесь наставниками, ибо одинъ у васъ наставникъ—Христосъ.

Мат. XXIII, 8-10.

Не допускай посредниковъ между своей душой и Богомъ. Ближе тебя никто не можетъ быть къ Богу.

8. Всякое преувеличеніе значенія лица или слова есть нарушеніе права души и заставляетъ мужественнаго читателя отложить новый завѣтъ и взять языческаго философа. Не потому, что Эпиктетъ или Маркъ Аврелій лучше, но потому, что они не нарушаютъ его свободы; потому что они только предлагаютъ свои мысли, тогда какъ тотъ (новый завѣтъ) внѣшнимъ образомъ предписываетъ тамъ, гдѣ нельзя предписывать. Человѣчество не должно больше терпѣть этого невыгоднаго положенія Евангелія. И дѣло нашего вѣка состоитъ въ томъ, чтобы свести всѣ эти писанія на одинъ общій уровень происхожденія и свойствъ человѣческаго ума. И всякій вдохновенный писатель только выиграетъ отъ прекращенія такого идолопоклонническаго отношенія къ нему.

Эмерсонъ.

10. Есть много хорошаго въ Библіи, и въ Упанишадахъ, и въ Евангеліи, и въ Коранѣ, и у Будды, и у Конфуція, и въ писаніяхъ стоиковъ, но больше всего нужнаго, понятнаго, близкаго въ ближайшихъ намъ религіозныхъ мыслителяхъ.

ПИСЬМА Л. Н. ТОЛСТОГО

о любви, браке и семейной жизни.

(Из материалов Московского Толстовского Музея).

1.

Б — ой.

«Что должна дѣлать жена, если у мужа есть любовница, и онъ хочетъ жить и съ тою и съ другою?»

Конечно, ни въ какомъ случаѣ не жить брачно съ такимъ мужемъ.

«Имѣетъ ли жена право взять дѣтей и уйти отъ мужа?»

О правахъ между женою и мужемъ не можетъ быть рѣчи. Но уйти даже отъ невѣрнаго мужа, если [онъ] дорожитъ совмѣстною жизнью съ женой и нуждается въ ней, нехорошо и потому не слѣдуетъ. Отнять дѣтей отъ отца, если онъ дорожитъ ими, тоже нехорошо и потому не слѣдуетъ.

Что же дѣлать? скажете вы. Терпѣть, стараясь самой не быть виноватой передъ мужемъ. Слишкомъ часто бываетъ такъ, что одинъ изъ супруговъ виноватъ увлеченіемъ, невѣрностью, а другой, вмѣсто того, чтобы, оставаясь чистымъ, помогать сбившемуся вернуться на путь, самъ начинаетъ грѣшить гордостью за свою чистоту, осужденіемъ, злобой, обидами. Самое сильное оружіе противъ зла есть добро. Вотъ все, что я умѣю отвѣтить на ваши вопросы. Оставайтесь сами чистыми и обращайтесь съ мужемъ, какъ бы обращалась съ нимъ любящая сестра. Это, по-моему, единственный выходъ изъ вашего тяжелаго положенія.

1893.

2.

Г — у.

Во-1-хъ, человѣкъ, к[оторый] въ состояніи бросить женщину только п[отому], ч[то] у ней нѣтъ того, ч[то] онъ называетъ широк[имъ] выраб[отаннымъ] міросозерцаніемъ, самъ имѣетъ очень узкое міросозерцаніе. Во-2-хъ, почему онъ знаетъ, ч[то] жизнь съ такимъ человѣкомъ будетъ мученье. Я знаю сотни и тысячи примѣровъ жизни—мученья съ женщинами съ выработаннымъ міросозерцаніемъ, и примѣры счастливой жизни безъ него. Но это все внѣшнія соображенія. Въ нравственныхъ же вопросахъ такія соображенія не имѣютъ мѣста для людей съ дѣйствительно разумнымъ міросозерцаніемъ. Для такихъ людей вопросъ о томъ, можно ли для ожидаемаго мною блага себѣ или другимъ убить, точно такой же, какъ и вопросъ о томъ, можно ли для блага себѣ или другимъ—прелюбодѣйствовать, рѣшается одинаково. Если, какъ я думаю, вы пишете о себѣ, то очень, любя васъ, совѣтую вамъ спросить себя, свою совѣсть, постаравшись забыть все то, ч[то] вы называете міросозерцаніемъ, и вы найдете одинъ отвѣтъ при всѣхъ условіяхъ: цѣломудріе, какъ можно больше цѣломудрія.

Левъ Толстой.

17 ноября 1907.

3.

9 янв. 1908 г.

N. N.

Если смотрѣть на жизнь какъ на удовольствіе, то она сдѣлается горемъ, страданіемъ. Если же смотрѣть на нее, какъ на исполненіе воли Бога, требующей отъ насъ, если ужъ не любви, то недѣланія другому, чего не хочешь, чтобы тебѣ дѣлали, то жизнь станетъ радостью, благомъ. Благо ваше будетъ никакъ не отъ того, что вы сойдетесь съ тою или другою женщиной, а отъ того, что поступите хорошо или дурно. А вы знаете, что хорошо, что дурно. Еще совѣ-

тую не говорить и не думать о своей безхарактерности. Такіе разговоры и мысли суть только попытки оправданія своихъ будущихъ дурныхъ поступковъ. Безхарактерныхъ (въ смыслѣ безвольныхъ) людей не бываетъ. Всякій человѣкъ всегда во всякомъ случаѣ можетъ поступить хорошо или дурно, и всякій знаетъ, что хорошо и что дурно. Желаю вамъ поступить хорошо. И для того, чтобы не ошибиться: не думать о своемъ удовольствіи, а думать о другихъ и о своей душѣ. Еще совѣтъ, к[оторый], можетъ-б[ыть], и покажется вамъ страннымъ: совѣтую вамъ всегда, а особенно въ это рѣшительное для васъ время, не курить, не пить вина и избѣгать шумнаго общества.

Любящій васъ

Левъ Толстой.

4.

Глѣбовой.

Ясная Поляна,
Тульск. губ., ст. Засѣка.

Отвѣчать на вашъ вопросъ мнѣ очень легко. Цѣломудріе есть идеалъ, къ которому всегда, во всѣхъ условіяхъ, нужно стремиться. Чѣмъ ближе достигаешь исполненія его, тѣмъ—не то что достигаешь какой-нибудь заслуги передъ Богомъ, а достигаешь своего большаго блага. Человѣкъ больше можетъ служить Богу, будучи цѣломудреннымъ, чѣмъ отдаваясь своей плотской жизни.

Вотъ все, что имѣю сказать вамъ.

Левъ Толстой.

17 марта 1908.

5.

П — ъ.

Ясная Поляна.

Въ отвѣтъ на ваше письмо совѣтовалъ бы вамъ прочесть Матфея, глава V, стихъ 31 и 32,—не потому совѣтую это вамъ, что это—Евангеліе, которое считается священной кни-

гой, а потому, что тутъ выражено самое практическое, мудрое правило, относящееся къ вашему положенію. Въ половомъ вопросѣ, какъ было, такъ всегда и останется идеаломъ полное цѣломудріе: человѣкъ естественно стремится къ нему, такъ какъ противное цѣломудрію состояніе есть состояніе животнаго. Но такъ какъ достиженіе полнаго цѣломудрія трудно молодымъ людямъ, то ближайшее приближеніе къ нему есть супружество, при которомъ мужъ не покидаетъ жены и жена не покидаетъ мужа для того, чтобы они оба имѣли возможность исполнить то, что одно оправдываетъ супружество: родить и воспитать дѣтей. Когда же мужчина оставляетъ жену и беретъ другую, то, очевидно, у него идеалъ не цѣломудріе, а личное счастье. И потому въ вашемъ вопросѣ совѣтовалъ бы вамъ употребить всю силу воли надъ собою для того, чтобы разстаться съ тѣмъ человѣкомъ, который вовлекаетъ васъ въ грѣхъ и въ тяжелое во всѣхъ отношеніяхъ положеніе. Какъ вамъ лучшимъ образомъ сдѣлать это, не огорчивъ и не оскорбивъ того человѣка, это вы знаете. Мой же совѣтъ очень опредѣленный, и я ничего другого сказать вамъ не могу.

Желаю истинно вамъ настоящаго блага. Прощайте, желаю вамъ всего хорошаго, и самое хорошее для васъ есть освобожденіе отъ того соблазна, въ которомъ вы находитесь.

Левъ Толстой.

25 марта 1908.

6.

М — й.

Любезная N. N.

Отвѣчать на ваше письмо мнѣ очень трудно и даже невозможно, если думать, что я могу указать вамъ наилучшій образъ дѣйствій, поступковъ; или очень легко и просто, но боюсь, что вамъ покажется трудно и невозможно.

Всѣ трудности, всѣ горести и всѣ сомнѣнія, всѣ разрѣшаются однимъ: самоотреченіемъ, т.-е. отреченіемъ отъ

своей тѣлесной жизни и перенесеніемъ ея въ жизнь духовную, въ увеличеніе въ себѣ любви—той любви, к[отор]ая ищетъ награды въ себѣ, въ сознаніи соединенія съ Богомъ-любовью, той любви, к[отор]ая любитъ не любящихъ, а ненавидящихъ. Не думайте, милая N. N., что это слова. Попробуйте оживить въ себѣ сознаніе Бога-любви, к[отор]ому, какъ Богу, ничего не нужно, и въ той мѣрѣ, въ к[ото]рой вы оживите въ себѣ его, въ той мѣрѣ вы найдете успокоеніе и благо. Мало этого. Если удастся вамъ сдѣлать это, начать жить для души—и не успѣете оглянуться, какъ и внѣшняя жизнь ваша измѣнится и перестанетъ быть тяжелою.

Любящій васъ

Левъ Толстой.

6 ноября 1908.

7.

Ч — му.

Очень сожалѣю о томъ, что не могъ отвѣтить вамъ раньше. Отвѣтить же вамъ мнѣ хотѣлось и нужно то, что вы находитесь, какъ я думаю, подъ очень обычнымъ и очень вреднымъ суевѣріемъ о томъ, что влюбленность есть нѣчто близкое къ любви и очень хорошее чувство, тогда какъ это—и дурное, и очень вредное, всегда мучительное по своимъ послѣдствіямъ чувство. Можно предаваться ему, не признавая никакого религіозно-нравственнаго закона, но признаніе законности влюбленія и любви, какъ закона жизни, несовмѣстимы. Любовь—только тогда любовь, когда она самоотверженна, не ищетъ своего удовольствія. И такую любовь вы можете имѣть къ своей женѣ (а вовсе не притворство), и чувство это дастъ вамъ истинное благо; чувство же къ той особѣ, если вы отдадитесь ему, навѣрное ничего, кромѣ приниженія вашего нравственнаго уровня и вытекающихъ изъ этого страданій, не дастъ вамъ. Желаю вамъ истиннаго блага.

Левъ Толстой.

6 ноября 1908.

8.

О — ву.

Былъ нездоровъ и очень занятъ, потому до сихъ поръ не отвѣчалъ. Жизнь человѣческая есть только непрестанныя усилія освобожденія отъ тѣлесныхъ вожделѣній. Въ этихъ усиліяхъ и благо жизни. Усиліе всегда возможно, и всегда возможна побѣда духа надъ тѣломъ. Не достигаетъ побѣды только тотъ, кто не вѣритъ въ это. А для того, чтобы вѣрить, надо знать, что въ усиліях смыслъ жизни, и испытать. Очень желаю вамъ успѣха, и увѣренъ, что вы его достигнете.

Левъ Толстой.

7 ноября 1908.

9.

N. N.

Добрая жизнь требуетъ нравственнаго усилія. И у каждаго человѣка есть тѣ условія жизни, которыя требуютъ этого усилія. У каждаго есть свои трудности. Для васъ эти трудности въ вашей—какъ вы говорите—семейной жизни. На нее-то и должно быть направлено ваше усиліе—усиліе въ томъ, чтобы любить, жалѣть того, кто тяжелъ вамъ—не любитъ васъ и не любезенъ вамъ. Вамъ заданъ этотъ урокъ, а вы хотите уйти отъ него. Отъ души совѣтую вамъ постараться видѣть все доброе, не видѣть, забывать все непріятное и въ душѣ не осуждать... И если вы искренно будете стараться дѣлать это, вы вмѣсто тоски почувствуете большую радость.

Совѣтую вамъ это и желаю.

Левъ Толстой.

7 ноября 1908.

10.

Л.

Давно уже получилъ ваше письмо и очень сожалѣю о томъ, что до сихъ поръ не успѣлъ отвѣтить на него. Положеніе ваше очень трудное, и я всей душой сочувствую

ему. Мой совѣтъ въ томъ, чтобы, продолжая съ добротой относиться къ мужу, высказать ему всю естественно испытываемую вами тяжесть вашего положенія и, главное, прекратить съ нимъ супружескія сношенія. Если бы у васъ не было дѣтей, то вамъ не только можно, но и слѣдовало бы оставить мужа. При теперешнихъ же условіяхъ вы связаны съ нимъ, и эта ваша страдальческая жизнь, если только вы будете нести ее съ кротостью и въ цѣломудріи, должна будетъ, по всѣмъ вѣроятіямъ, заставить опомниться и его и вашу сестру. Желаю вамъ силы душевной для перенесенія вашего испытанія и увѣренъ, что какъ ни тяжело ваше положеніе, оно обратится въ благо и вамъ, и вашему мужу, и вашей сестрѣ, если вы будете нести его съ кротостью и любовью.

Левъ Толстой.

23 ноября 1908.

11.

Т — ъ.

Безъ малѣйшаго колебанія на вопросъ вашъ отвѣчаю: оставаться съ мужемъ. То, что вамъ далъ тотъ человѣкъ, никто не можетъ отнять отъ васъ. Только вы сами, если бы ушли съ нимъ, лишили бы сами себя всего этого духовнаго, чистаго блага. Тѣ особенныя условія, при которыхъ вы живете съ мужемъ, не только не могутъ побуждать васъ къ оставленію его, но, напротивъ, цѣломудріе для человѣка, живущаго духовной жизнью, есть великое благо, которымъ надо дорожить всѣми силами. Разстанетесь вы съ тѣмъ человѣкомъ—вы удержите это условіе, не разрушите духовнаго общенія съ нимъ и, главное, не нарушите любви съ любящимъ васъ и, справедливо или несправедливо, но считающимъ себя въ правѣ ожидать отъ васъ любви мужемъ. Уйдете отъ мужа—во-первыхъ, лишитесь условія чистоты, въ которомъ теперь живете съ мужемъ, во-вторыхъ, по всѣмъ вѣроятіямъ, разочаруетесь, и третье, главное, вмѣсто той любви, которой ожидаетъ отъ васъ вашъ мужъ, причи-

ните ему тяжелое горе, которое не переставая будетъ мучить васъ.

Вотъ мой совѣтъ. Очень бы желалъ для васъ, чтобы вы послѣдовали ему.

Левъ Толстой.

24 ноября 1908 г.
Ясная Поляна.

12.

Л — ву.

Думаю, что оставленіе мужемъ жены, у которой есть отъ него ребенокъ, есть дурной поступокъ, который не можетъ не отозваться рядомъ тяжелыхъ послѣдствій, и самыхъ тяжелыхъ не столько для оставленной жены, сколько для оставляющаго ее мужа. Мнѣ кажется, что вы подпали общему заблужденію о томъ, что цѣль супружества есть увеличеніе пріятностей жизни. Это далеко не такъ. Супружество всегда—уменьшеніе пріятностей жизни, потому что налагаетъ на человѣка новыя трудныя обязанности. Цѣль супружества, къ которому влечетъ людей такое сильное чувство, что человѣкъ большей частью не можетъ устоять противъ него, есть никакъ не увеличеніе пріятностей жизни, а исполненіе человѣкомъ одного изъ своихъ призваній—продолженія рода.

Вотъ мое мнѣніе. Пожалуйста не сѣтуйте на меня, если оно не отвѣчаетъ вашимъ желаніямъ и мнѣніямъ.

Левъ Толстой.

2 декабря 1908 г.
Ясная Поляна.

13.

К — у.

14 декабря 1908 г.
Ясная Поляна.

Помочь вашему другу и вамъ въ той борьбѣ съ половой похотью, въ которой онъ уже признаетъ себя безсильнымъ, а вы еще боретесь, помочь вамъ могу не я, а только

религіозное сознаніе жизни, цѣль которой не личное благо, а исполненіе назначенія человѣка въ этомъ мірѣ. Говоря о томъ, что нѣтъ силъ удержаться, и не взять ли также, какъ и другіе, нынче одну женщину, завтра другую, только для того, чтобы самому удовлетворить, какъ это кажется вашему другу, да и многіе думаютъ, потребность своего организма, вы уже допускаете возможность, недопустимую для человѣка, признающаго высшія религіозныя требованія: что имѣете право на пользованіе тѣломъ женщины, которую уже по этому самому не можете считать равнымъ себѣ человѣческимъ существомъ—сестрою. Не признаете и того, что если нѣкоторые будутъ имѣть многихъ женщинъ, то будутъ такіе, у которыхъ ихъ не будетъ. И потому указать людямъ, не признающимъ религіозно-нравственныхъ требованій, на средства успѣшной борьбы съ похотью, я не могу, да и никто не можетъ. Средство есть одно, сознаніе духовности своей жизни и стремленіе къ ея усиленію. То, что вашъ другъ близокъ къ паденію, и вы также боитесь за себя, происходитъ только отъ того, что у васъ нѣтъ высшихъ религіозно-нравственныхъ требованій. Мало того: не имѣя ихъ, вы подпадаете самовнушенію о томъ, что нельзя или страшно трудно бороться съ требованіями организма—требованіями вовсе не непреодолимыми, какъ пища, сонъ и другія.

Простите меня, если я ошибся въ предположеніи о вашемъ міросозерцаніи, и если это такъ, то буду очень радъ узнать противное.

Во всякомъ случаѣ, желаю вамъ успѣха—не скажу въ половой борьбѣ, а въ общей борьбѣ духовной силы съ тѣломъ.

Левъ Толстой.

Черновое письмо Л. Н. Толстого

к неизвестному по поводу дела Мельницкого.

Вводная заметка.

Печатаемое ниже черновое письмо Льва Николаевича вызвано было следующим происшествием.

3 ноября 1881 года казначей Московского Воспитательного Дома Ф. И. Мельницкий получил из Московской конторы Государственного Банка 339.000 рублей на содержание Воспитательного Дома. Уложив из них 337.000 р. в кожаный саквояж, Мельницкий отправился пешком в Купеческий Банк, чтобы внести эти деньги на текущий счет Воспитательного Дома. На полпути он почувствовал себя дурно и присел; когда же он через несколько минут пришел в себя, он увидел, что саквояж с деньгами бесследно исчез. Взволнованный, он явился к прокурору Судебной Палаты и, рассказав ему обо всем происшедшем, просил арестовать его. Высокое общественное положение Мельницкого в гор. Корчеве, где он до службы в Воспитательном Доме, по единогласному избранию гласных, четыре года был председателем Земской Управы; 11-летняя служба в должности казначея в Воспитательном Доме; материальная обеспеченность; почтенный возраст Мельницкого,—все это не оставляло сомнения в том, что Мельницкого действительно постигло несчастье. Тем не менее, в виду значительности похищенной суммы, была произведена тщательная проверка его заявления и исследовано поведение его за все время службы. Исследование это заставило подозревать, что Мельницкий симулировал ограбление и деньги присвоил себе. Мельницкий был арестован. Дело его разбиралось 4-8 ноября 1882 г. в Московской Судебной Палате с участием присяжных заседателей. Поверенным со стороны гражданского истца (Воспитательного Дома), т. е. в сущности, прокуро-

ром Мельницкого, выступил знаменитый адвокат Ф. Н. Плевако. Решением присяжных Мельницкий был признан виновным в приписываемом ему преступлении и приговором Палаты присужден к лишению всех особенных прав и ссылке на житье в Томскую губернию. В печати дело Мельницкого подняло большой шум.

Письмо Льва Николаевича, столь оригинально выражающее его точку зрения на это дело, было написано, вероятно, вскоре после суда над Мельницким и, следовательно, должно быть отнесено к концу 1882 или к началу 1883 года. Упоминаемый в письме г. Одарченко — присяжный поверенный Константин Филиппович Одарченко. Подлинник письма хранится в Толстовском Музее в Москве. Оно написано на обороте отрывка из „В чем моя вера".

Н. Гусев.

М. Г.

Вы хотѣли знать, почему дѣло Мельницкаго такъ интересовало меня, что я сказалъ Г. Одарченко, что охотно бы взялъ на себя защиту Мельницкаго,—вы хотѣли знать, что именно я думалъ сказать по этому случаю.—Это было давно—болѣе года; я ужъ забылъ тотъ ходъ мыслей; но теперь, вспоминая, могу возстановить только главное, а именно: во-первыхъ, поступокъ Мельницкаго-отца никогда не представлялся мнѣ такимъ возмутительнымъ, какимъ онъ выставляется общественнымъ мнѣніемъ. Поступокъ этотъ мнѣ представлялся прежде всего умнымъ, именно умнымъ, какимъ представляетъ намъ Хр[истосъ] поступокъ невѣрнаго управителя, говоря, что сыны міра сего умнѣе сыновъ свѣта въ своемъ родѣ. Преступности же этого поступка передъ судомъ сыновъ міра я рѣшительно не могъ видѣть. Осуждали и осуждаютъ Мельницкаго сыны міра, т.-е. тѣ самые люди, дѣятельность которыхъ всю ихъ жизнь направлена къ пріобрѣтенію палатъ каменныхъ, какъ мы всѣ знаемъ, не отъ трудовъ праведныхъ. Христосъ при судѣ блудницы сказалъ: «Пусть тотъ, кто безъ грѣха, броситъ первый камень». Еще можно допустить, чтобъ нашлись въ средѣ судившихъ люди, невиновные въ прелюбодѣяніи, но неужели въ нашемъ обществѣ можно предположить такихъ

присяжныхъ, которые бы пріобрѣли и пріобрѣтаютъ все трудами праведными? Спросите всѣхъ людей, отъ околодочнаго до сенатора и отъ приказчика магазина до милліонера купца, отъ кулака мужика до крупнаго землевладѣльца, что, пріобрѣтая свое имѣніе, они всегда пріобрѣтали праведно? И всякій человѣкъ съ совѣстью скажетъ, что нѣтъ. Только всѣ мы пріобрѣтаемъ и пріобрѣтали немножко неправедными дѣлами, мы, какъ курочка, клюемъ по зернышку неправедность, и дѣлаемъ это безопасно; а Мел[ьницкій] сразу и одинъ разъ въ жизни сдѣлалъ то, что мы дѣлаемъ всю жизнь, и сдѣлалъ это съ великой опасностью. И не могу не сказать, что его поступокъ нравственнѣе. И всѣ поняли, что его поступокъ умнѣе, если бы онъ удался, и всѣмъ стало завидно. Только этимъ я могу объяснить негодованіе многихъ людей общества на поступокъ Мельниц[каго]. «Я плутовалъ всю жизнь и нажилъ только немножко, а этотъ не плутовалъ всю жизнь, а въ одинъ разъ ухватилъ больше, чѣмъ я»...

Письмо Л. Н. Толстого к Я. П. Полонскому.

(Из копировальной книги писем Л. Н. Толстого, хранящейся в Толстовском Музее в Москве).

Вводная заметка.

Лев Николаевич познакомился с Яковом Петровичем Полонским в середине 50-х годов, когда он, по окончании Севастопольской войны, приехал в Петербург и, как равный среди равных, был принят в кругу передовых писателей того времени. Судя по дневникам, Л. Н. в Петербурге не сблизился с Полонским больше, чем с другими литераторами. Зато в 1857 году, когда они встретились за границей, в Баден-Бадене, где Толстой был проездом, они, по словам Полонского, „сошлись, как родные братья". Так писал Полонский М. Ф. Штакеншнейдер 15 июля 1857 г.[1] На другой день он писал ей же: „Вчера при лунном свете мы блуждали с ним [с Толстым] в развалинах и много говорили".

Женившись в 1862 г., Лев Николаевич, как известно, двадцать лет безвыездно жил в Ясной Поляне, уезжая из нее лишь на короткое время.

За это время он не виделся с Полонским (который в 1863 г. напечатал в журнале «Время» очень сочувственную статью о «Казаках»). Они увиделись лишь в 1878 году у Тургенева, к которому Л. Н. приехал после происшедшего между ними примирения и у которого гостил тогда Полонский. Лев Николаевич пробыл у Тургенева два дня, 9 и 10 июля, и Полонский, не видавшийся с ним 20 лет, нашел (как рассказывает он в воспоминаниях[2]) в тоне Льва Николаевича и в его манере держать себя нечто новое. «Я видел его,—рассказывает Полонский,—

---

[1]) „Голос Минувшего", 1919, № 1—4, стр. 125—126.

[2]) Я. П. Полонский. Тургенев у себя на родине. „Нива", 1884, №№ 1—8.

как бы перерожденным, проникнутым иной верою, иною любовью. Никому из нас граф не навязывал своего образа мыслей и спокойно выслушивал возражения Ивана Сергеевича. Одним словом, это был уже не тот граф, каким я когда-то в молодости знавал его».

Что же касается того впечатления, которое Полонский произвел на Л. Н-ча, то о нем можно судить по сделанной Л. Н-чем, после свидания с ним, заметке в записной книжке: «Милый Полонский, спокойно занятый живописью и писанием, не осуждающий и бледный, спокойный".

С 1881 года Лев Николаевич, как известно, в течение 20 лет по зимам жил с семьей в Москве; здесь он видался и с Полонским. Об одном посещении Полонского рассказывает в своих воспоминаниях Илья Льв. Толстой [1]). Вечером Лев Николаевич сидел в своем кабинете и сапожничал; пришел слуга и доложил, что его хочет видеть какой-то барин Потогонский.

— Что за Потогонский? Не знаю такого. Проси сюда, сказал Л. Н.

Минут через пять дверь отворилась, и появился высокий, седой старик на костылях. Вглядевшись в него, Л. Н. вскочил и начал его целовать.

— Батюшка, Яков Петрович, так это вы! Простите, ради Бога, что я заставил вас пройти все эти лестницы. Если бы я знал, я сошел бы к вам вниз, а то Сергей говорит: «Потогонский». Чем вас угостить?

— Ну, если так, так давайте мне потогонного, я с удовольствием выпью чаю,— сострил Полонский.

Вероятно, об этом свидании Лев Николаевич записал в своем дневнике (12 мая 1884 г.): «Вечер хотел шить, пришла Дмоховская и потом Полонский. Вот дитя бедное и старое, безнадежное. Ему надо верить, что подбирать рифмы—серьезное дело. Как много таких».

Чтобы понять это суждение Льва Николаевича о Полонском, нужно вспомнить, что как раз в то время он был особенно серьезно настроен вследствие все более и более резко проявлявшегося непонимания его в семье. Кроме того, в то время его

---

[1]) Илья Толстой. „Мои воспоминания". М., 1914, изд. т-ва Сытина. Стр. 184-185.

особенно мучил тот вопрос, который в течение сотен лет волновал лучшие и благороднейшие умы и сердца человеческие: как уничтожить вопиющую неправду нашего общественного строя? Как людям избавиться, с одной стороны, от тяжелого, сверхсильного, одуряющего и озверяющего труда голодного большинства, и развращающей праздности пресыщенного меньшинства - с другой? Именно в это самое время зрело в нем его, кровью и слезами написанное, сочинение: «Так что же нам делать?»—этот страшный обвинительный акт против насильнического общественного строя.

Чем определеннее вырабатывалось миросозерцание Льва Николаевича, чем сокрушительнее делалась его критика основ нашей жизни, чем резче становились его статьи против церкви и государства, тем Полонский должен был все дальше и дальше отходить от него. Он был человек церковного и консервативного образа мыслей, долгое время служил цензором, а в последние годы жизни (с 1896 г.) был даже членом Совета Главного Управления по делам печати. В 1895 году он напечатал в консервативном журнале «Русское Обозрение» (№№ 4-6) довольно резкую статью под заглавием: «Заметки по поводу одного заграничного издания и новых идей графа Л. Н. Толстого». В статье этой, написанной по поводу вышедшего тогда за границей одного из самых сильных сочинений Л. Н-ча: «Царство Божие внутри вас», Полонский обвинял Толстого в том, что он «всему еще живому и сильному старается подать чашу, отравленную огульным отрицанием, или ядом всеразлагающего неповиновения».

В следующем 1896 году статья эта вышла отдельным изданием, напечатанным в Синодальной типографии. Возможно, что до Льва Николаевича доходили какие-нибудь и устные резкие отзывы о нем Полонского, которыми, вероятно, и было вызвано печатаемое письмо. П. А. Сергеенко из каких-то источников передает[1]), что после появления в 1897 г. в «Вопросах философии и психологии» статьи Льва Николаевича «Что такое искусство?», Полонский написал против него очень резкую статью, которую читал вслух своим друзьям. Кто-то сообщил о ней Льву Нико-

[1]) П. А. Сергеенко. Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой. М., 1908. Изд. 2-ое. Стр. 95.

лаевичу, и Лев Николаевич написал ему печатаемое письмо. Письмо это, будто бы, так подействовало на Полонского, что он взял свою статью из набора и уничтожил ее.

Ссылка на Евангелие и на обряд прощения во время говения вызвана была в письме Льва Николаевича, конечно, тем обстоятельством, что Полонский твердо держался православия. Что же касается напоминания о близкой смерти, то оно оказалось как бы пророческим: Полонский умер через полгода с небольшим по получении письма Л. Н-ча, 18 октября 1898 г.

Н. Гусев.

Дорогой Яковъ Петровичъ!

По разнымъ признакамъ я вижу, что вы имѣете ко мнѣ враждебное чувство, и это очень огорчаетъ меня. Люди идутъ совершать обрядъ говѣнія и просятъ прощенія и прощаютъ; въ евангеліи сказано: если принесъ даръ и вспомнилъ, что братъ твой... поди и помирись... то какъ-же намъ съ вами, уже по нашимъ годамъ идущимъ уже не говѣть и не приносить даръ, а идущимъ на судъ того, кто насъ послалъ въ эту жизнь, не желать уничтожить въ насъ недоброе, нелюбовное чувство, если оно закралось намъ въ сердце.

Мнѣ уничтожать въ себѣ недоброе чувство къ вамъ нечего, п[отому] ч[то] его нѣтъ и не было. Я всегда, какъ полюбилъ васъ, когда узналъ, такъ и продолжалъ любить. Мнѣ поэтому-то и особенно больно и даже удивительно ваше недоброе чувство ко мнѣ. Если я ошибаюсь, то это будетъ для меня большая радость. А то, кромѣ того, что больно вызывать недобрыя чувства въ человѣкѣ, кот[oраго] любишь, особенно обидно то, что вы получили ко мнѣ дурное чувство съ тѣхъ поръ и какъ будто за то, что я постарался быть лучше и, откинувъ всѣ другія соображенія, употребилъ всѣ силы на то, чтобы, какъ могу и умѣю, исполнять волю Того, Кто меня послалъ въ жизнь и къ которому я очень скоро долженъ пойти. Я могъ ошибаться въ этомъ исканіи лучшей жизни и болѣе полнаго исполненія воли

Бога, но я знаю, что руководило и руководитъ мною одно это желанiе, и потому хорошiй и добрый человѣкъ, какъ вы, никакъ не можетъ за это разлюбить человѣка.

Очевидно, тутъ есть какое-то недоразумѣнiе, и я очень желалъ бы, чтобы оно разрушилось.

Пожалуйста, простите меня, если считаете, что я въ чемъ-нибудь виноватъ передъ вами, и не будьте дурно расположены ко мнѣ. Мнѣ и всегда было мучительно больно чувствовать и знать, что я виновникъ вызваннаго моими слабостями дурного чувства, а теперь, когда всякiй день по нѣсколько разъ думаю и готовлюсь къ смерти, это для меня особенно мучительно.

Такъ, пожалуйста, дорогой Яковъ Петровичъ, простите и не не любите меня.

Любящiй васъ Л. Толстой.

7 апрѣля 1898 г.

Письмо Л. Н. Толстого
Н. П. Лопатину.

Вводная заметка.

6-го февраля 1909 года в Ясную Поляну приехал живший за границей литератор Ф. Купчинский с той целью, чтобы предложить Л. Н-чу написать новую статью против смертной казни. Он сказал, что издающаяся в Москве газета «Жизнь», выходящая раз в неделю по понедельникам, согласна напечатать все, что напишет Л. Н. против смертной казни, без всяких пропусков, как бы оно ни было резко. Л. Н. сначала сказал Купчинскому, что едва ли сможет сейчас что-либо написать об этом, и я уже было принес ему полный экземпляр «Не могу молчать» для того, чтобы вместе с ним выбрать оттуда подходящие места для напечатания в газете, когда Л. Н., воротясь с прогулки, не заходя к нам в столовую, прямо прошел к себе и написал небольшую статью против смертной казни, которую и отдал Купчинскому для напечатания в его газете.

Вот что он написал:

«Нѣтъ худа безъ добра. Такъ есть и сторона добрая въ тѣхъ ужасныхъ преступленіяхъ всѣхъ законовъ, божескихъ и человѣческихъ, въ тѣхъ убійствахъ, которыя не переставая и все учащаясь совершаются подъ названіемъ смертныхъ казней людьми, именуемыми правительствомъ. Добрая сторона въ томъ, что передъ каждымъ человѣкомъ прямо и безповоротно поставленъ вопросъ: во что онъ вѣритъ: въ Бога или хотя совѣсть человѣческую, или въ государство и во все то, что будетъ предписано во имя его?—Ужасно сказать, большинство того, что называется высшими сословіями, признаетъ обязательнымъ подчиненіе закона Бога, требованій совѣсти—«закону» государства и его тре-

бованіямъ. Какъ ни усиленно и, страшно сказать, успѣшно идетъ развращеніе такъ называемыхъ низшихъ сословій, на нихъ одна надежда. Нельзя вѣрить, чтобы русскій, простой, безграмотный, необразованный, т.-е. неиспорченный народъ промѣнялъ Бога на государство, Евангеліе на сводъ законовъ и статьи: Не убій и Люби враговъ, на статьи 1, 129, или еще какія такихъ-то отдѣловъ. Пора народу опомниться, и народъ опоминается».

Левъ Толстой.

6 февраля 1909 г.
Ясная Поляна.

Заметка эта вскоре была напечатана в «Жизни». За помещение ее администрация, как тогда делалось, наложила на редактора штраф в 3000 руб. с заменой, в случае несостоятельности, арестом на 3 месяца. Не имея средств заплатить штраф, редактор Николай Петрович Лопатин [1]) выбрал последнее. Из тюрьмы он прислал Л. Н-чу письмо, с описанием всего происшедшего. Ответ Л. Н-ча на это письмо печатается ниже. (Подлинник его хранится в Моск. Толстовском Музее).

Н. Гусев.

Ясная Поляна, 28 февраля
1909 г.

Лопатину, Редактору «Жизни».

Извините меня, пожалуйста, за то, что не зная вашего имени и отчества, пишу вамъ безъ обращенія.

Написать же мнѣ вамъ хочется для того, чтобы сказать вамъ, что я очень благодаренъ вамъ за помѣщеніе въ вашей газетѣ моей замѣтки. Благодаренъ потому, что думаю, что нельзя и не должно молчать о тѣхъ преступленіяхъ всѣхъ законовъ Божескихъ и человеческихъ, которыя совершаются правительствомъ подъ предлогомъ общаго блага; и вы, рискуя многимъ, содѣйствовали обличенію этой ужасной, жестокой лжи. Но вмѣстѣ съ благодарностью не

[1]) 1 янв. 1914 г. покончил самоубийством.

могу не чувствовать огорченія при мысли о томъ, что тѣ мѣры, которыя должны бы были по справедливости быть обращены на меня, обращаются на людей, близкихъ мнѣ по своимъ взглядамъ.

Пожалуйста, дайте мнѣ знать о себѣ, о томъ, какъ вы переносите ваше заключеніе, и не могу ли я чѣмъ-нибудь быть вамъ полезнымъ, чего бы очень желалъ.

Левъ Толстой.

Письмо Л. Н. Толстого о Мережковском.

От редакции.

Печатаемое ниже письмо, написанное Львом Николаевичем за 4 дня до ухода из Ясной Поляны, в высшей степени характерно для него, иллюстрируя один из его нравственных принципов: «никогда не оправдывайся». (Подлинники как письма Л. Н-ча, так и вызвавшего его письма студента хранятся в архиве Толстовского Музея в Москве).

Письмо студента А. Бархударова Л. Н. Толстому.

Лев Николаевич!

Я много думал о Вас, о ваших взглядах, о Вашей жизни и приходил всегда к заключению, что Ваша жизнь очень разнится от Ваших воззрений, иначе говоря: в теории Вы—один, на практике—другой. Сейчас я прочитал исследование Мережковского «Толстой и Достоевский» (Изд. 4-ое Общ. П. 1909 г.) четвертую главу и в ней нашел все то, что меня особенно интересовало в Вас.

Эта глава—обвинительный акт, направленный против Вас и снабженный аргументами, с которыми нельзя не считаться, которые нельзя игнорировать. Этот акт приглашает Вас к ответу, требует от Вас раз‘яснений.

«Не страшно ли, в самом деле, то, что и этот человек, который так бесконечно жаждал правды, так неумолимо обличал себя и других, как никто никогда, что и он допустил в свою совесть такую вопиющую ложь, такое безобразное противоречие? Самый маленький, и в то же время самый сильный из дьяволов, современный дьявол собственности, мещанского до-

вольства, серединной пошлости, так наз. «душевной теплоты», не одержал ли он в нем своей последней и величайшей победы?» (Стр. 63 названной книги).

Не откажите ответить мне, дали ли Вы раз'яснения и где их можно найти, и как Вы относитесь к этой (4) главе указанного сочинения? Буду очень благодарен Вашему ответу, т. к. он даст мне возможность разобраться и выяснить некоторые волнующие меня вопросы и даст мне возможность не молчать — я молчал, не зная, что ответить, когда обвиняют Вас, говоря: «Что Толстой? Толстой—тряпка. Отказался, будто бы, от своих богатств, а сам живет на те же деньги и проповедует любовь, равенство и другие такие штучки. А, ну-ка, сам их исполняет? Я его человеком не сочту. Какой он человек, когда говорит одно, а делает другое?» (Это говорил один рабочий, ехавший со мной по Ю.-В. жел. дор.).

Студент *Александр Бархударов.*

Петербург,

19—X—10.

ОТВЕТ Л. Н. ТОЛСТОГО.

А. Бархударову.

24 октября, 10 г.
Ясная Поляна.

Мережковскаго не читалъ, и судя по тѣмъ выпискамъ, которыя вы дѣлаете, читать, а тѣмъ менѣе оправдываться не нахожу нужнымъ.

Левъ Толстой.

Письмо Л. Н. Толстого

к неизвестному офицеру.

Вступительная заметка.

В огромном архиве писем Л. Н. Толстого к разным лицам, собранных (в копиях) В. Г. Чертковым и до сих пор не напечатанных—имеется довольно много писем к неизвестным адресатам, главным образом, относящихся к более раннему периоду или же к тому времени, когда В. Гр. еще не приступал к систематическому собиранию копий с писем Льва Николаевича, или, наконец, таких, которые были переданы ему значительно позднее их написания—часто без упоминания фамилии адресата, а часто и без обозначения года написания.

Все письма Толстого имеют, разумеется, огромный, исключительный интерес, но особенно интересны те, которые писались им ко многим, совершенно безвестным людям, лично незнакомым Толстому, но обращавшимся к нему по наболевшим вопросам души. Ответы Льва Николаевича таким лицам особенно ценны: в них он вкладывал все лучшее, все самое глубоко продуманное им по тому или иному вопросу; кроме того—в письмах этих ясно проступает та беспримерная чуткость, осторожность и глубокое проникновение в душу человека, которое составляет счастливое преимущество этой великой души,—и особенно в тех случаях, когда Л. Н. был захвачен искренностью обратившегося к нему человека. Одно из таких писем Толстого мы и предлагаем здесь читателям, одновременно с этим обращаясь к ним с просьбой—сообщить нам, не известна ли кому из них фамилия адресата и точная дата написания этого письма? За всякое сообщение мы будем истинно признательны [1]).

[1]) В настоящее время нами подготовляется к изданию „Переписка Л. Н. Толстого с В. Г. Чертковым", из которой том первый, включающий в себя письма 1883—1886 годов, совершенно готов к печати. Поэтому для нас особенно желательно было бы пополнить наше примечание к этому письму более точными данными. Адрес наш: В. Г. Черткову. Лефортовский пер., д. 7, Москва.

К сожалению, в настоящее время невозможно установить точную дату этого письма; но по некоторым данным можно предположить, что написано оно было в середине 80-х годов и скорее раньше, чем после 1885 г. Подтверждением этого предположения может служить следующая запись в дневнике Л. Н-ча 1884 г.:

«5/17 июня: «Письмо Ч-ва и офицера». И 6/18 июня: «Потом писал письма:. . . ., к офицеру—не послал. Ч-ву—послал». (Из ненапечатанного дневника, хранящегося в архиве Черткова).

Неизвестным осталось для нас—послал ли Толстой, в конце концов, свой ответ офицеру, или он так и остался непосланным среди его черновых. Ища разгадку в переписке Толстого с Чертковым того времени—мы встречаем у Л. Н-ча одно, правда, глухое упоминание—о каком-то «письме хорошем», которое было бы совсем непонятно, если бы не нашлось ответное письмо Черткова с более определенными данными. Приводим здесь обе эти выдержки:

«Письмо очень хорошее, простое, ясное. Одно, что я по письму не могу вполнѣ понять человѣка (по личному общенію я могу всегда рѣшить главный вопрос искренности). Если вамъ можно, повидайте его. Я сейчасъ попытаюсь написать ему». (Из письма Л. Н. Толстого к В. Г. Ч-ву 6—9 июня 1884 г.)

Это письмо Толстого, адресованное в Петербург, не застало там Черткова, который отвечает ему уже из Лондона:

«Сегодня получил от вас письмо (с письмом к вам от стрелкового прапорщика) и как раз кстати... Письмо прапорщика действительно отрадное, и я уверен, что таких людей должно постепенно набраться много и много. В Петербурге непременно с ним познакомлюсь». (Из письма В. Г. Ч-ва к Л. Н-чу Толстому от 15 июня 1884 г. Лондон).

Предположения наши, конечно, гадательны, и нельзя утверждать наверное, тот ли это самый офицер, о котором упоминается в письме Черткова. Да так ли это и важно в конце концов? Это внешняя подробность,—интересная лишь для библиографа или биографа; важнее, мне кажется, внутренняя

связь между этими двумя данными: и в том и в другом случае содержание писем касается того жгучего вопроса, за разрешением которого на протяжении 25 лет так часто и настойчиво обращались к Толстому молодые люди с просыпающимся сознанием. Но в данном случае, кроме важности содержания, этот ответ Толстого имеет еще особый интерес для его биографии, так как почти с уверенностью можно сказать, что перед нами первый по времени подобного рода документ, дошедший до нас, в котором Толстой касается этого вопроса—и касается не теоретически, но по поводу определенного, конкретного случая. И мы, радуясь тому, что письмо это, хотя бы только в копии сохранилось и дошло до наших дней, пользуемся возможностью сделать его доступным для всего мыслящего человечества.

Письмо печатается полностью и в точности по орфографии Л. Н. Толстого.

А. К. Черткова.

ПИСЬМО Л. Н. ТОЛСТОГО.

(Без даты.)

Если я могъ написать то, что измѣнило вашъ взглядъ на жизнь, и если вы могли такъ понять то, что я написалъ, то это только потому, что это не мои (Льва Николаевича) мысли, а это истина Божеская, которая лежитъ въ сердцѣ вашемъ, въ моемъ, въ сердцѣ всѣхъ людей. Если же я бы написалъ вамъ, что вамъ дѣлать въ тѣхъ условіяхъ, въ которыхъ вы находитесь, я бы написалъ вамъ свои, Л. Н., мысли, которыя не имѣютъ никакого значенія и, вѣроятно, были бы вздоръ.— Христосъ сказалъ: «Пошлю вамъ духа истины, и онъ научитъ васъ всему». И Онъ точно научаетъ каждаго человѣка, въ какихъ бы условіяхъ онъ не находился, если этотъ человѣкъ искрененъ. По письму же вашему я вижу, что вы человѣкъ искренній: вы поняли просто и прямо и отнесли къ себѣ и своему положенію требованія истины. Человѣкъ, вѣрующій ученію Христа, не можетъ составлять себѣ плана жизни. Въ каждую минуту онъ старается дѣлать то, что ему велитъ Богъ, исполнять волю Отца, и знаетъ, что кромѣ добра ничего изъ этого выйти не можетъ.

Вы говорите, что вы находитесь въ ложномъ положеніи. Всякій находится въ немъ въ нашемъ мірѣ; но ученикъ Христа сознаетъ это свое ложное положеніе и стремится каждымъ шагомъ, каждымъ часомъ, каждымъ словомъ выйти изъ него. Вся жизнь наша есть трудъ освобожденія себя и другихъ изъ этого ложнаго положенія. Не надо думать, что христіанинъ можетъ выйти изъ соблазновъ міра и жить внѣ ихъ. Жизнь христіанина есть борьба съ соблазнами, освобожденіе себя и другихъ отъ нихъ— это трудъ жизни христіанина, и радостный, блаженный трудъ, если человѣкъ пойметъ, что это его задача жизни. Радостный трудъ потому, что каждый шагъ на этомъ пути плодотворенъ, приближаетъ къ цѣли, къ царству Божію и къ Богу. Я испытываю это уже нѣсколько лѣтъ. Я (такъ же, какъ и вы) находился въ самыхъ ложныхъ условіяхъ жизни и (такъ же, какъ и вы) искалъ средствъ освободиться сразу отъ зла и, не находя ихъ, страдалъ отъ этого, но теперь, когда я вижу, что задача моей жизни въ томъ, чтобы освобождаться отъ соблазновъ, я по мѣрѣ силъ своихъ освобождаюсь отъ нихъ и, хотя теперь продолжаю жить въ соблазнахъ, я чувствую спокойствіе, имѣю опредѣленную цѣль въ жизни и чувствую радость, оглядываясь назадъ на то зло, отъ котораго я уже освободился.

Для васъ теперь первый вопросъ—военная служба. Разумѣется, нельзя продолжать служить, и вы выйдете изъ службы, если вы искренни; но жизнь ваша не можетъ никогда устроиться такъ, чтобы вы были внѣ зла—явятся другіе соблазны: брачной жизни, собственности, съ которыми вы опять будете бороться и отъ которыхъ вы также освободитесь, если вы искренній человѣкъ, и требованія истины для васъ также ясны относительно этихъ соблазновъ, какъ и относительно военной службы. Если вы будете писать мнѣ, адресуйте въ Тулу. Очень радъ буду полученію вашего письма и очень желалъ бы узнать васъ ближе.

О ТОЛСТОМ.

Из воспоминаний Т. Л. Сухотиной-Толстой.

О том, как мы с отцом решали земельный вопрос.

Любовь отца к земле и уважение его к земельному труду были не только принципиальными—но и органическими. До его так называемого переворота или перелома[1]), отец страстно занимался хозяйством, совершенствуя все его отрасли, насколько это было в его силах. С крестьянским земледельческим трудом он всегда близко соприкасался и часто в нем участвовал. Когда же наступил «перелом», то отец отверг всякую собственность, как денежную, так и земельную. Он ничего не хотел иметь и со свойственной ему страстностью и горячностью, всеми силами стремился сбросить с себя тяготившее его бремя.

Это было не так легко сделать: у него была жена и девять человек детей, приученных им к той жизни, в которой жили люди его круга.

---

[1]) Я пишу — „так называемого", п. ч. я не считаю, чтобы в душе отца родилось что-то новое, не бывшее в нем раньше. Все, что он впоследствии высказал в своих религиозно-философских сочинениях—все это жило в нем всегда и часто выражалось им в его дневниках, художественных произведениях и в его жизни. Только временные наслоения интересов: литературных, семейных, имущественных и других мешали выбиться наружу во всей полноте его духовной сущности. Когда же таинственная внутренняя работа окончилась и наполнила всю его душу—она легко разбила эту корку и сбросила ее с себя. Не меняя своего пути, он до смерти твердо держался той деятельности, которую он предчувствовал еще в ранней молодости, когда он в своем дневнике писал: „Разговор о Божестве и вере,—пишет он 5 марта 1855 года, находясь под Севастополем,—навел меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я считаю себя способным посвятить жизнь. Мысль эта—основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле . . . . Действовать *сознательно* к соединению людей религией—вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечет меня".

Моя мать, вышедшая замуж 18-ти лет за человека, стоявшего выше ее в отношении опыта, возраста, круга и состояния, была отчасти воспитана своим мужем. Она рассказывала, что отец, например, запрещал ей ездить по железной дороге во втором классе, а только в первом. Нам, детям, было дано самое тщательное воспитание и образование. В доме жило не менее пяти воспитателей и преподавателей, и столько же приезжало на уроки (в том числе и священник). Мы учились—мальчики шести, а я пяти языкам, музыке, рисованию, истории, географии, математике, закону Божьему.

Отец был против поступления в среднюю школу не только дочерей, но и сыновей.

В семье чуть ли не с самого рождения первых детей было решено, что когда старший сын—Сережа—достигнет 18-ти лет, то мы переедем в Москву, а там Сережа поступит в университет, а меня—старшую дочь—на полтора года моложе Сережи—будут *вывозить в свет*.

Все шло как по писаному. Отец писал романы и занимался сельским хозяйством, мать рожала и кормила детей, учила старших, переписывала сочинения отца и занималась домашним хозяйством. Жизнь текла ровно и счастливо. Отец был главой семьи, которому все беспрекословно подчинялось.

Но вот в конце 70-х годов отца стали мучить сомнения. В чем смысл жизни? Так ли он живет, как надо? То ли он делает, что нужно для счастья своего и других?

Эти сомнения и невыносимые душевные страдания, пережитые им в искании смысла жизни, тогда чуть не привели его к самоубийству.

Он с изумительной силой правды описал эти переживания в своих книгах: «Исповедь», «В чем моя вера», и в неоконченном рассказе «Записки сумасшедшего».

Не стану их повторять. Скажу только, что нарушение его душевного равновесия отразилось на строе жизни всей семьи. Отец ушел в интересы, открывшиеся ему новым мировоззрением. Новые люди, совершенно чуждые семье, стали интересовать его и интересоваться им.

По давно данной инерции, отец сразу не только не пытался изменить внешней жизни семьи, но в 1882 году он купил и

меблировал дом в Москве в Хамовническом переулке. Он же купил нам карету, коляску и двое саней и распорядился о том, каких трех лошадей привести для нас из Ясной Поляны.

Старший брат ходил в университет. А меня вывозили в свет. На первый мой бал вывез меня отец.

Но мало по малу отцу такая жизнь становилась все более и более невыносимой. Особенно тяжело ему было оставаться земельным собственником. Он призывал семью к тому, чтобы раздать все состояние и итти крестьянствовать.

Семья, во главе с матерью, не пройдя того же пути, который прошел он, не могла понять мотивов, руководящих им—и совершенно недоумевала перед предложением своего главы. Столько лет этот глава вел нас по одному пути—и вдруг все надо сломать и итти совершенно новой, неизведанной дорогой. Особенно недоумевала, огорчалась, раздражалась, пугалась и терялась мать.

Для нее было непонятно, зачем разрушать ту жизнь, в которой она была так счастлива и которая так удачно сложилась.

«Мы все любим друг друга. Он всеми любим и уважаем. Ему все подчиняются, и так хорошо жить, имея такого разумного, любящего руководителя. Он занят любимым литературным делом, оно приносит ему любовь людей, славу и деньги, чего же он ищет?»

С тех пор, как начались «идеи» (как говорила моя мать), все испортилось. Дети, видя, что отец перестал ими руководить—вышли из повиновения. Правительство, почуяв какие-то вредные веяния, насторожилось и, не решаясь трогать самого Толстого—ссылало и заключало близких ему по духу людей. Вместо стройной, счастливой семейной жизни шла борьба, с пререканиями, слезами, взаимными упреками. Кому и зачем это нужно? А потом—какое же право имеет он насильно требовать от нас перемены той жизни, к которой он нас приучал годами? Так рассуждала мать.

Мы, дети, мало понимали то, что происходило, и только страдали от розни отца с матерью. Мы видели, что они оба сильно страдали, часто плакали. Как помочь мы не знали.

Наконец, отец решительно заявил, что он больше не хочет быть собственником, и предложил матери взять все состояние себе. Она от этого отказалась. Тогда отец придумал другой выход: он предложил поступить так, как если бы он умер. Наследники, так же как и в случае его смерти, должны были разделить его состояние между собой.

Так и было сделано. В 1890 году на Страстной неделе с'ехались в Ясную Поляну все мои братья, чтобы произвести раздел. Я пишу в своем дневнике 13-го мая 1890 года:

«Этого захотел папа, а то, конечно, никто не стал бы этого делать».

Но уже тогда я понимала, как ему это было тяжело. Как-то мы трое старших: Сергей, я и Илья, пошли к отцу в кабинет, чтобы попросить его сделать оценку всего своего состояния. Мы постучались.

— «Кто там?»

— «Это мы пришли к тебе»...

Отец, не дождавшись того, чтобы мы сказали ему, что нам нужно—быстро заговорил.

— «Да, да. Я знаю... Надо, чтобы я подписал, что ото всего отказываюсь в вашу пользу...»

Он сказал это потому, что это было для него самое тяжелое, и он торопился поскорее свалить с себя это бремя. Я понимала, как тяжело ему было подписывать дарственную на то, что он давно не признавал своим. Даря нам свои земли, дом и деньги, он как бы признавал это своей собственностью.

Как осужденный, он торопился всунуть голову в приготовленную для него петлю, которую, он знал, что не минует,—и мы трое, стоявшие над ним, были этой петлей.

Состояние отца было разделено на десять равных частей и распределено по жребию между девятью детьми и матерью. Всем нам этот раздел был очень тяжел. У меня сердце болело за то, что я участвовала в огорчении отца. Я делала это, только надеясь на то, что с этим разделом уничтожится много неприятных ссор и споров в семье.

Моя сестра Маша решительно отказалась от своей части состояния [1]).

У каждого человека свои душевные свойства. Есть люди, которые все решают быстро, под влиянием минутного впечатления, не думая о последствиях. О таких людях Н. Н. Гусев в своей книге «Два года с Толстым» приводит следующие слова моего отца, хорошо выражающие мою мысль:

«Всегда страшно бывает за таких людей, которые сразу так горячо берутся: и имение роздал... А потом, если у него не хватит сил, он не будет обвинять себя, а будет обвинять то учение, которое он хотел исполнять: будет говорить, что оно неисполнимо...»

Другие люди боятся понадеяться на свои силы, боятся изменения в будущем своих убеждений и раскаяния в своих поступках. И потому остаются в прежних условиях, тяготясь ими и стыдясь их.

Я принадлежала к последнему разряду людей. Мне очень не хотелось участвовать в разделе. Мне в это время было бы гораздо легче отказаться от отцовского наследства, чем принять его.

Но мне не свойственно поступать под впечатлением минуты, и я сначала решила обдумать свое положение и взвесить свои силы.

В своем дневнике того времени я пишу:

«Я завидовала Маше в том, что она не входила ни во что и отказалась взять свою часть, и я самым добросовестным образом старалась обдумать то, как мне поступить. Я пришла вот к чему:

«*Во-первых,* я не имею права не брать своей части потому, что все равно мне ее отделят и напишут на имя мама, которая будет мне давать доход с нее и, кроме того, хлопотать за меня. А *во-вторых,* у меня столько требований и так мало от меня пользы, что я сяду кому-нибудь на шею и буду тому в тягость. Мне, прежде всего, надо заботиться о том, чтобы уменьшить свои потребности, а от денег отделаться я всегда сумею.

[1]) Моя мать все же предусмотрительно эту часть выделила и вручила ее Маше, когда та выходила замуж и от нее не отказалась.

Еще я так плохо умею обходиться с тем, что у меня есть, и так часто я желаю побольше денег, что куда мне отказываться от своей части».

Я тогда думала, что мне легче будет умерить свои потребности и отделаться от своего состояния, чем это оказалось на самом деле. Я рассуждала так: главное дело моей жизни должно состоять в том, чтобы как можно меньше тратить на себя произведений человеческого труда и как можно больше давать взамен. Если же я теперь, по непосредственному брезгливому чувству, не возьму своей части состояния, то может случиться,—даже наверное случится,—что у меня будут соблазны, и я для удовлетворения этих соблазнов буду способна на какой-нибудь дурной поступок: замужество из-за денег, работа, не соответствующая моим убеждениям, или что-либо подобное.

Итак, я приняла свою часть наследства: имение при деревне Овсянниково в 180 десятин вблизи Ясной Поляны и небольшой денежный капитал.

Я продолжала жить в Ясной Поляне. В Овсянниково я поместила сына нашего кучера, который там хозяйничал, но так как дело шло плохо, я сдала землю в аренду крестьянам ближайших деревень и распродала инвентарь.

Помню, как в первый раз мужики принесли мне задаток. В кухне, при нашем поваре Семене Николаевиче, три мужика пришли с деньгами. Один из них, развязавший платок, связанный в узел, выкладывал на стол рубли, двугривенные и даже медные пятаки, серьезно и сосредоточенно пересчитывая их, чтобы не ошибиться. Я стояла и ждала, чтобы он кончил считать, для того, чтобы взять эти заработанные тяжелым трудом рубли и положить их в свой карман. На следующий день я ездила в Овсянниково писать условие с крестьянами.

Мне стало так тяжело, что я в душе решила во что бы то ни стало изменить это положение.

В одиночестве я собиралась обдумать средство избавления от этой тяжести.

Полученные от крестьян деньги я решила им возвратить. А как поступить с Овсянниковым—я не могла придумать.

С отцом я не советовалась, так как хотела сначала одна,

только перед своей совестью, обдумать этот вопрос и взвесить свои силы.

Но от чуткого любящего сердца отца я своего настроения скрыть не могла. Он тотчас же почувствовал, что я чем-то озабочена. Вот что он пишет сестре Маше 29 августа 1894 г.:

«Вчера Таня ездила в Овсянниково с мужиками писать условие. Мне было грустно за нее, но я старательно молчал. Она, приехавши, была очень грустна. Нынче утром, проходя через ее комнату, я спросил ее: отчего она грустна? Она сказала: от всего.—Но, нет, есть одно.—Что?—Овсянниково. Зачем делать гадости, да еще когда они никому не нужны.—И губы вспухли, и она заревела. Оправившись, она сказала, что поговорит со мною об этом. Я придумал ей, как сделать. И сердце радовалось во мне. Но вот прошел день, и она не говорит со мной. Может, она думает, что я забыл (когда я этим только живу), может-быть, стыдится. Но это с ней все будет хорошо, потому что она не старается не видеть, чего не хочет».

В следующем письме к ней же он пишет:

«С Таней говорили об Овсянникове, и мне очень хочется устроить так за нее, чтобы деньги за землю шли на общественное дело à la Henry George».

Выливши отцу всю тяжесть, которая меня мучила, я успокоилась. Он об‘яснил мне свой план, как поступить с землей, и мы поехали с ним в Овсянниково, чтобы передать крестьянам наше предложение. Разговор отца с мужиками довольно точно описан в романе «Воскресение».

У меня с души свалилось тяжелое бремя.

Пахотная земля и леса перешли мужикам.

Усадьбу я оставила в своем пользовании, главным образом для того, чтобы там могла поселиться Мария Александровна Шмидт, старый наш друг и верная последовательница взглядов моего отца. Жили в Овсянниковской усадьбе и многие другие, нуждавшиеся в помещении.

Я получила много похвал и благодарности за свой поступок. Это лишний раз указало мне на то, как часто люди хвалят или порицают за то, что не достойно ни того, ни другого.

Между прочим я получила от Л. И. Веселитской [1]) следующее письмо:

«Несравненная Татьяна Львовна.

«Не сердитесь, дорогая красавица и умница, за то, что Якубовский рассказал нам по секрету о Вас. Я в такой радости и в таком восхищении, что не знаю—где мое сердце и цела ли у меня голова.—Не слышу ничего, что мне говорят, и не могу ни писать, ни говорить, ни читать раньше, чем не скажу Вам: спасибо за все те чувства, какие Вы вызвали Вашим поступком.

«Целую Вас и ужасно счастлива, что Вас видела и знаю.

«Все яснее и яснее становится в Ясной то, что должно всем стать ясно. Еще раз крепко целую Вас.

«Душою Ваша любящая Вас

Лидия Веселитская».

Получив это письмо через несколько месяцев уже после того, как я передала землю крестьянам, я сначала не поняла, что обо мне было рассказано Лидии Ивановне. С тех пор возникли новые события и новые интересы, и этот эпизод отошел на задний план. Кроме того, то, что я сделала для облегчения своей совести,—было одним из самых легких поступков в моей жизни и потому меньше всего достойным похвалы. Было много других, которые стоили мне гораздо больших усилий и которые не только не вызывали похвалы, но за которые я часто была порицаема.

В то же время, когда мы с отцом устраивали Овсянниковские дела, мне было совершенно безразлично, что говорилось обо мне, я была занята с отцом составлением условия с Овсянниковскими и Скуратовскими мужиками и ничем иным не интересовалась. Черновик этого условия написан рукой отца со вставками, сделанными мною по его указаниям. Он хранится у меня, как память о тех минутах исключительной близости и

[1]) Л. И. Веселитская под псевдонимом „В. Микулич“ написала ряд талантливых рассказов: „Мимочка невеста“, „Мимочка на водах“, „Мимочка отравилась“ и пр. В 1914 г. ею были изданы воспомининия под названием „Тени прошлого“, посвященные Льву Николаевичу, его семье и друзьям.

любви между мною и отцом, которые мне особенно дорого вспоминать.

В этом условии я предоставляла всю пахотную и покосную землю в полное распоряжение и пользование двух крестьянских обществ с тем, что они имеют право пахать, сеять и убирать в свою пользу пахотную землю и покосы, пасти свою скотину на полях и лугах и пользоваться в лесу каждые пять лет прочисткой и выборкой сухостойника.

Крестьяне же обязывались: уплачивать в общественную кассу по 6 р. с десятины, унавоживать землю, сторожить лес и платить повинности.

Остаток денег, полученных за аренду, крестьяне обязались употребить на общественные нужды по решению собрания обществ двух деревень.

В конце я просила своих двух наследников, в случае моей смерти, передать землю в полную собственность крестьянам.

Хотя отец и об'яснил мне земельную систему Генри Джорджа, но я тогда мало ею интересовалась.

Мне было очень хорошо на душе, потому что я видела, что отец рад, и крестьяне довольны.

Только через несколько лет я взяла книги Г. Джорджа и добросовестно изучила их.

Когда я поняла систему американского реформатора, меня охватило такое волнение от восторга перед ясной справедливостью этого гениального учения, что мне хотелось поскорее всякому передать то же, что переживала я.

Я уверена в том, что ни один искренний, не предубежденный человек не может не подпасть под очарование той могучей логики, основанной, как все великое, на религиозном принципе, которая выражена в учении Г. Джорджа.

Этот человек выработал свою систему не кропотливой кабинетной работой,—а своей жизнью нуждающегося рабочего. Он добыл истину своими личными страданиями. Он сам рассказывает о том, как ему раз пришлось на улице протянуть руку за подаянием на лекарство больной жене. Рабочий вопрос стал для него мучительной дилеммой, и он решил его своей могучей головой и своим благородным, горячим сердцем.

И до сих пор люди боятся довериться тому святому решению земельного вопроса, к которому пришел Г. Джордж. Я не сомневаюсь в том, что все-таки когда-нибудь человечество откроет глаза на этот простой способ всеобщего благополучия, и счастье и богатство человечества увеличится настолько, что не будет, как теперь, умирающих с голода.

Нравственная жизнь, основанная на религиозном принципе, всегда самая выгодная, но проходят века за веками, и люди все еще боятся это признать.

Услышав могучие слова американского реформатора, другая великая душа,— полная той же любви к истине и к людям,—на противоположной стороне земного шара—встрепенулась и откликнулась на них.

С тех пор как отец прочел книги Джорджа, он ни разу не пропускал случая, чтобы распространять его учение. При мне происходили разговоры на эту тему, и я чутко прислушивалась к ним.

Одно меня смущало. Хотя для проведения в жизнь этой системы *не было нужды в грубом* «отбирании» [1]), которое как всякое насилие, было отвратительно отцу,—все же налог с земли должен был собираться правительством. А правительство основано на насилии.

Я сказала об этом отцу. Он ответил мне, что это—то, что и его иногда смущает. Но что при существующем строе— это все же самое лучшее решение земельного вопроса; а кроме того, он представляет себе такой общественный строй, где управление народом будет иное, чем теперь, будет добровольное.

Тем временем в Овсянникове крестьяне добросовестно исполняли принятые на себя обязательства. Они собирали аренд-

---

[1]) При системе Г. Джорджа накладывается *единый налог* на землю, как на богатство, не произведенное человеческим трудом. Все остальные налоги уничтожаются. Все, что человек производит, принадлежит ему. Всякий, не имеющий сил или возможности платить земельный налог на имеющуюся у него землю, сам отдает ее в общественный фонд. Из этого фонда черпают те, кто хочет пользоваться землей и за нее платить. Человек же, не пользующийся землей, пользуется всеми улучшениями и преимуществами, добытыми на собранные с земельной ренты средства.

ную плату и вносили ее в банк, расходуя ее на общественные нужды. Раз они помогли погорельцам в Скуратове, раз в неурожайный год купили овсяных семян; выкопали пруд.

Доходили до меня слухи, что мужики все еще не вполне доверяют мне и боятся, что я когда-нибудь потребую от них сразу все деньги за все годы аренды.

Но вскоре они увидали, что я не только не требую с них денег, но даже не контролирую их взносов.

Когда они в этом убедились—они перестали платить арендную плату и стали пользоваться землей даром. Некоторые крестьяне стали даже спекулировать землей, получая ее даром и сдавая соседям за плату.

Ко мне стали поступать жалобы, сплетни, доносы. Я тогда была уже замужем и жила вдали от Ясной Поляны. Я наезжала туда на короткий срок и не имела возможности заняться Овсянниковскими делами. Кроме того мне стало досадно на крестьян за их спекуляцию, и я решила согласиться на их просьбу продать им через Крестьянский Банк ту землю, которой они пользовались.

Перестав интересоваться системой Г. Джорджа в ее применении к Овсянникову, я с тем большим интересом занялась ее теоретической стороной.

В Ясной Поляне получались журналы, специально посвященные пропаганде Джорджевской системы, и много его книг, которые под руководством отца переводились на русский язык. Я читала все, что мне попадалось под руку по этому вопросу.

Прочтя все книги Г. Джорджа—я принялась за сочинения других авторов по тому же вопросу, думая, что я, может-быть, найду в них что-нибудь новое или что-нибудь опровергающее его теорию. Затем я достала и прочла критики на Джорджа, думая, что могут быть возражения, которые не пришли на ум отцу и мне.

Но в решении земельного вопроса я ничего не нашла равного Г. Джорджу—а у русских критиков я нашла только вопиющее незнание автора, которого они критиковали.

Прочтя кучу книг, я осталась на своей точке зрения. Проще, яснее, выгоднее, справедливее системы Г. Джорджа я ничего не нашла.

Как мне хотелось, чтобы весь мир познакомился с этой системой. Я не сомневалась, что знать ее—значит ей следовать. Но как сделать, чтобы обратить людские глаза на нее?..

Я решила написать популярную книгу, излагавшую учение Г. Джорджа.

Мне казалось, что я в силах это сделать. Я знала по себе, как трудно человеку, незнакомому с наукой о политической экономии и не развитому в этой области—сразу охватить и обнять мысль великого американского экономиста-философа. Многие специальные термины темны для непосвященного. Зная, как много мне пришлось прочесть, передумать и расспросить прежде, чем ясно понять Джорджа, я задумала изложить его взгляды общедоступным, понятным всякому рядовому читателю, языком.

Много раз я переписывала и переделывала начало своей книги, стараясь просто, ясно, понятно изложить дорогие мне мысли.

Часто меня брали сомнения в том, так ли и то ли я пишу что нужно, и нужна ли моя работа вообще?

Конечно, лучшим судьей этому был бы мой отец. Но подвергнуть свою книгу его критике мне мешало то, что я знала, что, получив ее от меня, он не будет в состоянии судить о ней свободно и беспристрастно. Я решила послать ему первую часть под псевдонимом.

Я переписала рукопись на ремингтоне и на машине же написала письмо, в котором просила Л. Н-ча Толстого ответить мне в Москву по данному адресу. Подписалась я первым попавшимся именем: П. Полилов. В Москву же я написала, прося переслать мне письмо по моему деревенскому адресу, как только оно получится.

С величайшим нетерпением я ждала ответа. Он все не приходил. Как раз в эти дни произошла у нас какая-то путаница с почтовыми повестками на заказные письма. Вместо того, чтобы попасть к нам, они были пересланы нашим соседям. Я волновалась, всех упрекала и не находила себе места от нетерпения.

Наконец, я решила поехать в Ясную Поляну.

Приехала я утром, и так как отец занимался—я не стала отрывать его от работы. У сестры Саши я спросила, что нового в Ясной, какие приходили посетители и какие получались письма. Саша сказала, что между прочими интересными письмами, папа получил рукопись и письмо от какого-то Полилова, которые его очень порадовали. Она сказала мне, что он очень хвалил рукопись и написал Полилову длинное письмо,—в роде статьи—которое он несколько раз переделывал.

Она дала мне мое же письмо от лже-Полилова с вложенной в него моей рукописью. На конверте рукой отца было написано: «отвечать». А ниже в скобках он написал: «(интересное)».

Я попросила у Саши копию с ответа отца. Она мне его достала и подала. С бьющимся сердцем, в величайшем волнении, я прочла его.

Вот оно:

«6 Ноября 1909 года, Ясная Поляна.

«Петръ Александровичъ.

«Ваша статья съ письмомъ ко мнѣ доставила мнѣ большую радость. Я давно уже пересталъ—да и никогда не интересовался политическими вопросами; но вопросъ о землѣ, т.-е. о земельномъ рабствѣ, хотя и считается вопросомъ политическимъ,—есть, какъ Вы совершенно вѣрно говорите, вопросъ нравственный, вопросъ нарушенія самыхъ первобытныхъ требованій нравственности, и потому вопросъ этотъ не только занимаетъ, но мучаетъ меня,—мучаетъ то глупое, дерзкое рѣшеніе этого вопроса, которое принято нашимъ несчастнымъ правительствомъ, и то полное непониманіе его людьми общества, считающими себя передовыми.

«Вы можете поэтому представить себѣ ту радость, которую я испыталъ, читая Вашу прекрасную статью, такъ ярко и сильно выставляющую сущность дѣла.

«Вопросъ этотъ такъ мучаетъ меня, что я на-дняхъ видѣлъ очень яркій сонъ, въ которомъ среди общества «ученыхъ», оспаривая ихъ взгляды, излагалъ тотъ самый взглядъ на существующую вопіющую несправедливость земельной

частной собственности, который такъ прекрасно выраженъ въ Вашей статьѣ. Я кое-какъ записалъ этотъ сонъ и хотѣлъ, исправивъ, напечатать. Сонъ этотъ мой сбылся въ васъ и въ вашей статьѣ.

«Помогай вамъ Богъ закончить этотъ трудъ и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше.

«Знакомы ли вы съ Николаевымъ?[1]) Познакомьтесь — это такой знатокъ Г. Джорджа и такой страстный сторонникъ его ученія, и такой прекрасный человѣкъ, какихъ рѣдко встрѣтишь.

«Очень благодарю васъ за радость, которую вы мнѣ доставили.

«Мнѣ кажется, что вопросъ о несправедливости земельнаго рабства и о необходимости освобожденія отъ него стоитъ теперь на той же степени сознанія его, на которой стоялъ вопросъ крѣпостного права в 50-х годахъ: такое же сознательное возмущеніе народа, живо сознающаго совершаемую надъ нимъ несправедливость, такое же сознаніе этой несправедливости въ рѣдкихъ, лучшихъ представителяхъ богатыхъ классовъ и такое же грубое, отчасти не умышленное, отчасти умышленное непониманіе вопроса въ правительствѣ.

«Разница только въ томъ, что тогда для освобожденія крѣпостныхъ былъ у правительства образецъ Европы и, главное, Америки,—теперь же образца этого нѣтъ, а если и есть, то образецъ этотъ, состоящій въ образованіи мелкой частной земельной собственности, не только не освобождаетъ народъ отъ земельнаго рабства, а, напротивъ, закрѣпляетъ его. И, какъ всегда, правительственные люди, стоя на самой низкой и нравственной и умственной ступени, въ особенности теперь, послѣ побѣды надъ революціей, ставшіе особенно самоувѣренными и дерзкими, не будучи въ состояніи ни думать самобытно, ни понимать безнравственности земельной собственности, смѣло ломаютъ вѣковые устои русской жизни

[1]) Я не только знала С. Д. Николаева, но получала от него большую помощь, как советами, так и книгами. Он передал мне всю свою библиотеку по земельному вопросу, в которой я черпала многие свои сведения. Покойный С. Д. Николаев, скончавшийся в 1920 г., перевел почти все сочинения Генри Джорджа на русский язык.

для того, чтобы привести русскій народъ въ то ужасное, безнравственное и губительное состояніе, въ которомъ находятся народы Европы.

«Люди эти не понимаютъ, по своей ограниченности и безнравственности, того, что русскій народъ находится теперь не въ томъ положеніи, въ которомъ свойственно заставить его подражать Европѣ и Америкѣ, а въ томъ, въ которомъ онъ долженъ показать другимъ народамъ тотъ путь, на которомъ можетъ быть достигнуто освобожденіе людей отъ земельнаго рабства. Если бы правительство, не говоря уже—было бы умнымъ и нравственнымъ—но если бы оно было хоть немного тѣмъ, чѣмъ оно хвалится—было бы русскимъ, оно бы поняло, что русскій народъ, съ своимъ укоренившимся сознаніемъ о томъ, что земля Божья и можетъ быть общинной, но никакъ не можетъ быть предметомъ частной собственности,—оно бы поняло, что русскій человѣкъ стоитъ въ этомъ важнѣйшемъ вопросѣ нашего времени далеко впереди другихъ народовъ.

«Если бы наше правительство было бы не совсѣмъ чуждое народу, грубое и глупое учрежденіе,—оно бы поняло не только ту великую роль, которую предстоитъ ему осуществить, оформивъ великіе передовые идеалы народа,—но поняло бы и то, что то успокоеніе, умиротвореніе народа, котораго оно добивается теперь неслыханными со временъ Іоанна Грознаго казнями и всякаго рода ужасами, могло бы быть навѣрное достигнуто только однимъ: осуществленіемъ общаго народнаго идеала: освобожденіемъ земли отъ права собственности. Не нужно было бы тогда ни царю, ни его министрамъ, какъ преступникамъ, прятаться отъ народа за тройными стѣнами стражей. Только объяви манифестъ, какъ тогда, при освобожденіи крѣпостныхъ, о томъ, что правительство занято освобожденіемъ отъ земельнаго рабства, и народъ лучше всѣхъ стражей охранитъ правительство, которое онъ тогда признаетъ своимъ. Слѣпота людей нашего, такъ называемаго, высшаго общества—поразительна.

«Дума? При всѣхъ встрѣчахъ моихъ съ членами Думы, я считалъ своей обязанностью умолять ихъ о томъ, чтобы они хотя бы подняли въ своей Думѣ вопросъ объ освобож-

деніи земли отъ права собственности и о переводѣ, по Джорджу, налоговъ на землю. Отвѣтъ всегда одинъ: мы не занимались этимъ вопросомъ, не знакомы съ нимъ; главное же то, что вопросъ этотъ ни въ какомъ случаѣ не будетъ принятъ къ обсужденію. Очевидно, эти господа слишкомъ усердно заняты молотьбой пустой соломы, чтобы имѣть досугъ подумать о томъ, что одно важно и нужно. Они слѣпы, а что хуже всего—увѣрены, что зрячи.

«Такъ какъ же мнѣ не радоваться вашей дѣятельности. Пожалуйста пишите мнѣ объ успѣхѣ вашей работы.

«Дружески, съ благодарностью жму вашу руку.

«Левъ Толстой».

«7 Ноября 09 года.
«Ясная Поляна».

Очень сложные, смешанные чувства поднялись во мне по прочтении этого письма.

Я была в восторге от одобрения отца.

Но рядом я испытывала чувство стыда и раскаяния за свою мистификацию. Я только теперь поняла, что узнавши настоящего автора, отец будет огорчен и разочарован в том, что не из нового очага выросло знание и пропаганда идей Джорджа,— а от его же плоти и крови.

Когда встала мать—она тоже рассказала мне о том, что папа все говорит об одной полученной им статье от какого-то Полилова, очень хвалит ее, и что опять начались разговоры о Г. Джордже, который очень ей надоел.

Я с трепетом ждала появления отца. Наконец он вышел из своего кабинета в залу. Мы поздоровались с ним, и он сел завтракать.

Он был очень весел в этот день и рассказывал о том, какие он утром получил письма. Между прочим, один его юный друг только-что женился и описывал свою жену в юмористическом тоне. Он писал, что она во всех отношениях идеальная женщина: отлично печет пироги, но логика в ней отсутствует, рубахи у него всегда чистые, но его мысли и идеалы для нее чужды и т. д. Не отвечаю за точность текста

письма. Я не читала его, а приблизительно помню в передаче отца. Отец очень смеялся:

— Все вы такие.

Он принялся есть.

После некоторого молчания я спросила его:

— Тебе понравилась статья Полилова?

— Да, очень, а что? Ты его знаешь?

— Да; и, знаешь, это псевдоним. Полилов—женщина.

Отец перестал есть и поднял голову.

— Не может быть!

— Нет, правда.

— Кто же?

Я засмеялась.

— И очень близкая тебе женщина.

— Не может быть!!

— Нет, правда.

— Кто же?

— Я.

— Не может быть!!!

Тут я рассказала ему все, что я передумала, и почему я послала ему рукопись под псевдонимом.

Он не упрекнул меня. Но я почувствовала, что я верно угадала, когда боялась его разочарования. Он мне его не показал,—но между людьми, которые так близки друг другу, как были мы с ним, никакая тень не может пройти незамеченной.

Мы очень серьезно разговорились с ним о том, как нужно писать книгу, и я изложила ему план своей работы.

Книга должна была состоять из трех частей. Первая часть— принципиальная сторона: безнравственность земельной собственности; вторая—изложение существующих аграрных программ и критика их и третья — изложение экономической системы Г. Джорджа.

Я запнулась на второй части. Трудно было выбрать то, что считалось по этому вопросу важным. Я достала кучу книг, но сколько бы я ни читала—все еще были какие-то компетентные авторы, которых еще приходилось прочесть. Маркс, Каутский, Конрад Шмидт, Герценштейн, Чернов, Туган-Барановский и многие другие авторы были мною прочитаны или просмотрены. Но

так как я не была специально образованной в этой области, мне было трудно ориентироваться в большом количестве этих авторов.

Отец, по обыкновению, совета мне никакого не дал, но в конце нашей беседы он засмеялся и сказал:

— А где же Полилов? Я так хорошо представил себе его: аккуратный, в синем пиджаке....

Потом прибавил, потрепав меня по голове:

— Ну, если ты не кончишь этой книги — ты будешь настоящей женщиной.

Увы! Я не изменила своему полу. Я осталась настоящей женщиной. И рукопись до сих пор остается неоконченной.

Т. Л. Сухотина-Толстая.

5 июля 1923 гола.

Москва.

Слова Л. Н. Толстого,

записанные С. Ал. Стахович.

Раз вечером Лев Николаевич вышел из кабинета с книгой в руке. По лицу его было видно, что он взволнован. Он подсел к круглому столу, дал докончить идущий разговор и, открыв принесенную книгу (Pensées de Pascal) [1], начал читать. С первых же слов голос у него дрогнул, и он передал мне книгу, чтобы я дочла вслух: «Le dernier acte est sanglant quoique belle que fut la comédie en tout le reste. On jette enfin de la terre sur la tête et en voilà pour jamais» [2]). И на слова—pour jamais—Лев Николаевич утвердительно качнул головой, и лицо его выразило: *так* оно и будет...

Впоследствии мне пришлось несколько раз слышать от него эту цитату, но он не точно запомнил окончание и говорил так: «et puis c'est fini et pour toujours» [3]).

Тоже вечером и тоже входя в залу из кабинета (Лев Николаевич постоянно приходил прочесть или рассказать, что̀ его тронуло или поразило), он говорит: «Ce n'est pas pour faire un compliment» [4]), (он знал, как я сильно люблю Пушкина), «но какой мастер красоты ваш Пушкин».—С ударением и расстановкой произнес он слова: «мастер красоты».—«У меня сегодня на верховой езде—и с тех пор все вертится в голове стих:

«Недвижим он лежал, и странен
Был томный лик его чела».

«Ведь вот неверно—«лик его чела».... а прекрасно. Так прекрасно, что готов не заметить этого и понимаешь, в чем дело»....

---

[1]) „Мысли“ Паскаля.

[2]) Последнее действие—кровавое, как бы ни красива была комедия во всем своем протяжении. Бросят в конце земли на голову, и только всего.....и навеки...

[3]) И тогда—кончено, и навсегда.

[4]) Не в угоду вам.

Я напомнила, что.... «томный мир его чела». Лев Николаевич всплеснул руками: «Ну, конечно, Пушкин бы не ошибся. Чудесно! И именно это поражает в покойнике. Это странное спокойствие гладкого лба».

Мы с Таней [1]) переглянулись, поняв, что он думает о Маше [2]). Это было месяц спустя после ее кончины.

«Да, да»,—продолжал Лев Николаевич,—«тем удивителен Пушкин, что в нем нельзя ни одного слова заменить. И не только нельзя слова отнять, но и прибавить нельзя. Лучше не может быть, чем он сказал».

В другой раз он спросил: «Ну, а где Пушкин для рифмы неправильное слово употребил?

......«Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью как-нибудь».

«Следует сказать: «кое-как».

Тут я поспорила. Крестьяне иногда говорят: «как-нибудь»—вместо «кое-как». Мне плотник говорил: «Сабе-то ка-ак нибудь... а вот хозяину так не сделаешь».—Пушкин и тут не ошибся.

Как описание Кавказа, Л. Н-ч считал очень метко схваченным впечатлением строку Лермонтова:

«Сквозь туман кремнистый путь блестит» [3])

Лев Николаевич подошел с открытой книжкой Тютчева и указал мне на стихотворение:

«На мир невидимый духов»....

Он стоял рядом, заложив руки за пояс, покуда я читала. Последняя строфа:

«И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ней и нами,
Вот почему нам ночь страшна».

Я кончила и передала ему книжку. Он указал пальцем по странице на последнюю строку и тихим голосом, значительно,

---

[1]) Татьяна Львовна Сухотина, рожд. Толстая.

[2]) Мария Львовна Оболенская, рожд. Толстая. Скончалась в 1906 г.

[3]) „Выхожу один я на дорогу“.

точно выражая себе свою мысль, произнес: «Вот отчего нам смерть страшна»..., вместо «ночь» сказав «смерть».

Вчера вечером (28-го июля 1905 г.) за угловым столом в зале сидели: Мария Николаевна [1]), Лев Николаевич и я. Л. Н. читал нам вслух Герцена—чудесные страницы глубокого содержания и прекрасной формы. Тихо, взволнованно и значительно звучали прекрасные слова в его чудесном чтении.

.... «меньше себе требует и мало дает стареющее сердце»..... читает Л. Н. и останавливается, чтобы удержать дрожь голоса и не дать вылиться набежавшим слезам. Строгое лицо в апостольнике, из-за большого абажура лампы, растроганно глядит на брата. У меня сердце бьется от того, что слушаю и на что гляжу.

Как-то в зале лежал том «Войны и мир». Я взяла его и зачиталась, но слышала, когда за чайным столом раздавался голос Л. Н-ча.

Через некоторое время Л. Н. сказал: «Помните, одно время были в моде combles'ы [2]). Так: Quel est le comble de l'impolitesse?» [3])

И сам ответил: «C'est de lire dans un salon» [4])

Тогда я сказала: «Et quand est-ce que de lire dans un salon cesse d'être le comble de l'impolitesse?» [5])

И тоже сама ответила: «Quand le maître de céans est l'auteur du livre qui absorbe» [6])

Лев Николаевич поклонился и сказал: «C'est le comble de la flatterie» [7]).

Лев Николаевич говорил, что в художнике ценно чувство меры, и хороший писатель узнается по чувству меры, которое в нем есть. «Style sobre [8]), краткость. На это французы ма-

---

[1]) Мария Николаевна Толстая, монахиня, сестра Л. Н-ча (1830—1912).

[2]) Крайности.

[3]) Что – крайняя невежливость?

[4]) Читать в гостиной.

[5]) Когда читать в гостиной перестает быть крайне невежливым?

[6]) Когда присутствующий хозяин—сам автор книги, которая поглощает.

[7]) Это—крайняя лесть.

[8]) Сдержанность в стиле.

стера. Уж не помню, какой-то француз» [1]), прибавил он, «так заканчивает свое письмо: Excusez la longeur de ma lettre, je n'ai pas eu le temps d'être bref [2]). Золото добывается просеиванием».

«Настоящий талант сейчас чувствуется», говорил Л. Н «Бьет в нос, как aire fixe. Как когда пьешь сельтерскую воду из только-что откупоренной бутылки». И он сморщил нос и зажмурил глаза. «Вот так мне прямо в нос ударил талант Guy de Maupassant [3]), когда я в первый раз прочел его рассказы. Здесь мне Тургенев равнодушно дал книгу [4]), ничего о ней не сказав. Он намеренно так сделал, и очень умно, что не предупредил».

Когда Лев Николаевич стал писать свои воспоминания (это было зимой 1903 г.), прошлое, восставая в памяти, видимо, его волновало. Он говорил о своей работе душевно, с особенно мягким выражением глаз, таким, что вот-вот набежит слеза. Он говорил о том, как ценны сохранившиеся старые письма, и о значении воспоминаний; мне он поручил сказать моему отцу, чтобы он непременно этим занялся: что это превосходно для себя и поучительно для других. «Прожил ... и скажи, как. Сознайся. Но писать надо так, чтобы стыдно было диктовать»...

Лев Николаевич пришел к обеду, когда все уже сидели за столом. Как всегда осенью, на плечах у него была накинута коричневая фуфайка. Он сел на свое место, развернул салфетку, взял из рук Софьи Андреевны налитую тарелку супа, весело оглянул всех и вдруг, низко опустив голову, весь затрясся от смеха. «Что, что?»—закричали все зараз и, заразившись, все смеялись, не зная, о чем. И Л. Н. рассказал, что, когда днем он вышел из дома, чтобы ехать верхом, к крыльцу подъехал легковой извозчик из Тулы, который подал ему письмо и сказал, что из Петербурга приехал барин, и очень ему желательно быть у графа; но что он сумлевается насчет того, что он не

[1]) Вольтер (?)

[2]) Не взыщите за длинноту моего письма—не имею времени быть кратким.

[3]) Гюи-де-Мопассан.

[4]) Кажется, Maison Tellier.

имеет разрешения, и приказал привезти ответ. «Покуда я стал читать записку», говорил Л. Н., «извозчик громко прибавил: «Он сочинитель... тоже самое»... И Л. Н. вновь затрясся от хохота, с трудом договаривая: «Это он за своего protégé [2]) старался».

В 80-х годах, в Москве, проездом весною из Петербурга в деревню, моя мать отпустила меня между поездами к Толстым в Хамовники. Конечно, я обрадовалась этому страшно. Лев Николаевич был дома - это было счастье. Мы ехали в деревню, и была весна тоже счастье. И как было весело! Меня напоили кофеем, и я пошла в комнату Тани. Болтали мы без умолку и строили планы на лето, сговариваясь, когда мы будем в Ясной Поляне, когда они—у нас. В то же время Таня рылась в своих вещах, хлопала ящиками и искала мне подарка. «Что хочешь, портрет папа или дорожный подсвечник?» - спросила она.—«Подсвечник»,—ответила я. «Но он испорченный, больше не присасывается». «Ну, тогда портрет Л. Н-ча». И большая литография с портрета Л. Н-ча, работы Левицкого, свернутая в трубку, поехала со мной в деревню. В раме из красного дерева, с бронзовыми венками на углах, она висела в моей комнате над старинным диваном с высокой спинкой из карельской березы, висела с Петром Великим и Пушкиным и сгорела вместе с нашим старым домом.

Много лет спустя, как-то в Ясной Поляне, мы вспомнили с Таней, как она мне подарила портрет отца. Лев Николаевич смеялся моему рассказу. «Сломанный подсвечник или папашин портрет?» повторил он, уходя из залы в свой кабинет. «А вы и теперь любите подарки?» спросил он, останавливаясь в двери. «Ужасно люблю»,—ответила я. Через несколько минут Лев Николаевич вернулся. «Перерыл все ящики», — сказал он, «и ничего не нашел, кроме записной книжки. Но зато она новая, не испорченная и... с надписью».—«А вам не жаль, она, наверное, вам не нужна?»—спросила я. —«Нет, нет», ответил Л. Н., - «меня Чертков ими снабжает постоянно. И все разными».

Так я получила эту книжку и в нее вношу крупинки из моих воспоминаний о Льве Николаевиче.

София Стахович.

---

[1]) Покровительствуемый.

Воспоминания о последних днях Л. Н. Толстого.

Предисловие.

Эти «Воспоминания о последних днях Л. Н. Толстого» принадлежат перу брата моего, Александра Петровича Семеновского, старшего врача Данковской Земской больницы, скончавшегося в 1919 году от сыпного тифа.

Кроме сего, передаю в распоряжение Толстовского Музея телеграмму, полученную мною в Петрограде в день смерти Льва Николаевича от брата моего Александра, и удостоверяю, что на основании этой телеграммы газета «Речь», согласно моему телефонному сообщению, напечатала заметку о совершившемся событии.

Артист I-й Студии Московского
Художественного Академического театра
Ипполит Петрович Новский-Семеновский.

Мои воспоминания о последних днях Л. Н. Толстого.

Пишу под свежим впечатлением только-что пережитого, той драмы, свидетелем которой мне пришлось быть и которая, благодаря стечению обстоятельств, привела меня к высокой радости видеть и быть полезным великому Толстому, которого произведениями я зачитывался, развивал свой дух благодаря их титанической силе; а с другой—драма эта привела меня и к переживанию страшных минут угасания великого ЛЬВА.

Об уходе Льва Николаевича из Ясной Поляны мы, в нашей глухой провинции, узнали 30 октября. (Толстой, как известно, ушел из своего дома в ночь с 28-го на 29-ое). Вообще, как я узнал позже, число 28-ое играло большую роль в жизни Льва Николаевича: он родился 28-го года 28 августа, умер 82 лет от роду (наоборот 28), и много других дат его жизни совпа-

дают с числом 28. Он лично считал его счастливым для себя. Кроме того, 28-ое—кратное 7-и. И семь Толстой признавал (это мне сообщил Ив. Ив. Раевский, родственник и большой друг семьи Толстых в голодные годы Толстой жил и открывал столовыя в Данковском уезде в имении Раевского), признавал семилетние периоды в своей жизни: до 7 лет, до 14 лет, до 21 года и т. д.

1-го ноября я рано утром был вызван на роды в уезд, где должен был пробыть до 9 часов утра 2-го ноября. В 2½ часа 1-го ноября без меня были принесены телеграммы со станции Астапово с приглашением на консилиум к Льву Николаевичу. По своем приезде, я, прочитав телеграмму, справился, нужна ли моя помощь; ответ был таков, чтобы я приехал вечером 2-го. Когда я уже ехал на поезд в 5 часов вечера, чтобы отправиться в Астапово, привезли роженицу с колоссальным кровотечением, и я должен был отказаться от мысли видеть Толстого, так как больше поездов не предвиделось в эту ночь, а ехать на лошадях было невозможно из-за темноты и грязной дороги. Очень взволнованный и опечаленный, я производил акушерскую операцию, и лишь только вышел из операционной, как встретил нарочного, который привез мне телеграмму со станции Данков от графини А. Л. Толстой с просьбой приехать немедленно, так как положение очень серьезное. Следом за этим посланным примчался верховой, который торопил, так как экстренный поезд, де, ждет на станции меня уже 10 минут. Было 11 часов вечера. Я погоняю извозчика и поспеваю как раз к отходу поезда—к третьему звонку. Быстро вскакиваю на ходу в вагон I-го класса и хочу войти в дверь, но сталкиваюсь с каким-то господином (потом оказалось, что это был Андрей Львович), который меня не пускает в вагон и просит удалиться. В этот момент из соседнего вагона проходит Философов, с которым я знаком по земскому собранию и который бывал у меня. Недоразумение выясняется, и меня с величайшей любезностью ведут в вагон. Оказывается, что это был поезд, заказанный семьей Льва Николаевича, и ехали в нем: сыновья, Софья Андреевна, Татьяна Львовна и Философов. Меня ждали и тотчас же провели к графине. Она наружно спокойна, много говорит, просила меня обратить внимание на действие желудка и под-

черкивала благоприятное действие согревающих компрессов на Льва Николаевича. Она посвятила меня в причину ухода Л. Н-ча из дома. Говорила, что прожила с ним 48 лет, положила всю свою жизнь в заботу о нем, и они жили душа в душу, но появляется Чертков, который возымел такое влияние на Льва Николаевича, что он в какие-нибудь три-четыре года изменился очень, а в последние 5 месяцев так дурно повлиял на него, что она, графиня, отказала ему от дома и требовала, чтобы Л. Н. не видался с ним. Главным виновником всего она считает Черткова. Она боролась, она захворала нервным расстройством, страдала за то, чтобы спасти Льва для русской нации и для всего мира. А уж она ли не заботилась? Это вегетарианство доставляло ей так много хлопот; какие она деликатессы выдумывала!.. Любил очень Л. Н. яичницу со спаржей... Но все ее заботы и хлопоты ничто перед влиянием Черткова на Л. Н-ча, такого доброго, мягкого, на которого каждый может повлиять, каждый может подчинить. Она десять раз переписывала «Войну и Мир», она одна заботилась о том, чтобы те, которые обязаны ей и графу жизнью, т. е. дети, были обеспечены. На нее так повлиял уход Л. Н-ча, что она покушалась несколько раз на самоубийство, но была остановлена. Ее жизнь кончилась с разлукой с мужем, она поедет туда, куда он. (Фельетон Дорошевича[1]) С. А. очень хвалит, так как он описывает ее состояние, и «он один только понял меня»). И напрасно он хотел бы скрываться, так как с момента его выезда за ним следили 4 корреспондента и 2 сыщика, и кто-то из них сообщил ей, где находится Толстой, и теперь, узнав, что он болен, она едет к нему, так как знает, что никто, кроме нее, не может его успокоить, за ним ухаживать. При нем сейчас доктор Маковицкий, но он—дурак и совсем ничего не знает[2]), дочь Александра, которая гордая и своевластная, а он так нуж-

[1]) В „Русском Слове“ от 31 октября 1910 г. был напечатан фельетон В. М. Дорошевича под названием: „Софья Андреевна“. Ред.

[2]) Такое резкое и несправедливое суждение Софии Андреевны о преданнейшем друге Льва Николаевича Душане Петровиче Маковицком (равно как и резкие слова ее о своей дочери Александре Львовне) можно об'яснить лишь тем крайне возбужденным состоянием, в котором находилась тогда Софья Андреевна. Ред.

дается в ласке и заботе. «Я рада,—говорила она,—что с ним нет Черткова, и тот не может выехать, так как ему запрещен выезд из пределов имения».

Наш поезд прибыл в это время, которое незаметно пролетело в разговорах, на станцию Астапово.

Прежде всего был вытребован доктор Душан Петрович Маковицкий, который сопровождал Л. Н-ча во всех его последних странствованиях. Софья Андреевна сейчас же набросилась на него, зачем он увез «Толстого» из дома, зачем не уберег его, зачем не следил за ним...

Душан Петрович—небольшого роста, блондин с проседью, лет около 42—45, очень скромный, с тихим, ровным по интонации голосом. Лицо печальное, бледное; одет в шубу коричневого цвета—фасона тулупа с потертым воротником, какие можно видеть на картинах Маковского у престарелых чиновников «пансионеров». На голове круглая валяная шапочка желто-коричневая.

Графиня спрашивает, как положение Льва Николаевича; ответ: «Воспаление левого легкого. Аппетит плох, температура -39. Изжога и икота, лекарств не принимает, клизма действовала, компресс поставлен, дыхание 40, пульс 100 с лишним. Помещен он хорошо в квартире начальника станции, было несколько неприятно дымила печь, раз напустили угару, но это все исправлено. Лев Николаевич спокоен».

Софья Андреевна спрашивает, куда они ехали. Д. П. тем же ровным голосом, той же интонацией, не обращая внимания на повышенный тон графини, говорит, что далеко.—«Ну, куда же?»—Сначала в Ростов на Дону, там паспорты заграничные хотели взять.—«Ну, а дальше?»—В Одессу.—«Дальше?»—В Константинополь.—«А потом куда?»—В Болгарию.—«Есть ли у вас деньги?»—Денег достаточно.—«Ну, сколько?»—Достаточно.—Тут же выясняется, что Душан Петрович и Лев Николаевич взяли из дома 32 руб. Только Александра Львовна доставила еще 200 руб. (Как мне потом рассказывали, Д. П. на станциях, когда брал билеты, заявлял в кассе, что берет для Толстого, а потом сочтемся. Билеты, будто бы, давали.) Далее он рассказывает, что ехали они в 3-м классе, было накурено очень в вагоне, так что пришлось ехать на открытой площадке, так как отка-

зались прицепить вагон, а мест не было. Л. Н. почувствовал себя плохо 31-го, потом ему стало лучше, а после Валова стало нехорошо настолько, что решили слезть в Астапове. На вопрос графини, можно ли ей пойти к Л. Н.?—он ответил, что это недопустимо, так как появление ее произведет на Л. Н. сильное впечатление. У Софьи Андреевны вырвалось по отношению к Маковицкому несколько упреков, он же остался невозмутимым и непреклонным: «Сказал нельзя, так и нельзя». Разговор идет все время в вагоне. Наконец, отправляемся к Л. Н-чу. Выходим: Философов, Маковицкий, Андрей Львович и я. На платформе много народа. Все с любопытством глядят на нас. Кто-то поднимает платок, упавший у меня из кармана, и передает мне. Тихо, сдержанно и напряженно. Подходит начальник станции И. И. Озолин и справляется, здесь ли доктор. Знакомимся, и он отводит меня в сторону и сообщает, что я буду пропущен к нему в дом, где лежит Л. Н., и должен назвать свою фамилию; о моем приезде предупреждены.— Идем (Д. П., Андрей Львович, начальник и я) через линию железной дороги и подходим к крыльцу красного домика начальника станции. В окнах огонь. Стучимся. Отворяется форточка, спрашивают, кто? Начальник говорит: «Доктор». Впускают по одиночке всех, кроме Андрея Львовича. Знакомимся: Сергеенко, который свято хранит двери и взял на себя миссию не пускать в дом никого, кроме лиц желательных и известных (страшно боялись, что придет Софья Андреевна); Чертков, который уже прибыл. Это высокий, полный господин, одет в широкий пиджак, мягкую рубашку, на руках какие-то коричневые перчатки, повидимому, гуттаперчевые—хирургические, которые он снимает очень редко,—голос мягкий, вкрадчивый, лицо красивого овала, с орлиным носом, несколько грузное. Затем Александра Львовна, полная высокая брюнетка, с короткими вьющимися волосами (недавно перенесла скарлатину). Одета просто, в очках (близорука), очень симпатична, женственна, несмотря на свою крупную фигуру, великолепный цвет лица. Еще дама не знаю ее значения в семье Толстых — Варвара Михайловна [1]. Рассказывают про болезнь. Из врачей, кроме Маковицкого —

[1]) Варвара Михайловна Феокритова, переписчица Софии Андреевны и подруга Александры Львовны. Ред.

железнодорожный врач Статковский. После обычных разговоров, Александра Львовна и Чертков предупреждают, чтобы я не говорил о прибытии семьи и Софьи Андреевны. Идем к больному мы—врачи.

Лев Николаевич очень охотно согласился исследоваться, с большим трудом приподнялся и был поддержан, когда я выстукивал его сзади. Оказалось, что в левом легком занята вся нижняя доля катарральным процессом, в правом нашел воспалительный фокус ниже лопатки, величиною в серебряный рубль - несколько побольше. В правом легком картина разрешения процесса, масса хрипов, и характер их довольно неопределенный (среднепузырчатые). После освидетельствования больного посоветовались, как и чем пользовать, остановились на компрессах возбуждающих и полном спокойствии. Жаропонижающих не давали до консилиума и решили не давать и теперь. В виду того, что ночью прошлой дежурили посменно Маковицкий и Статковский, в настоящую ночь предоставили дежурство мне. Но перед этим я должен был сходить к Софье Андреевне, которой обещал сообщить результат моего осмотра. В разговоре с семьей Льва Николаевича я высказался, что положèние очень серьезное, сердце ненадежное, и ждать можно всего, хотя надежды терять нельзя.

Всю ночь Л. Н. провел беспокойно, вздрагивал, пугливо озирался, временами дремал, мучился изжогой и стонал почти без перерыва. Когда я его спрашивал, не нужно ли чего, благодарил и ото всего отказывался, говоря: „Спасибо, голубчик, не надо". Появился пот около трех часов ночи, Л. Н. стал спокойнее, кашлял с мокротой ржавой, около часа поспал и, проснувшись, увидев меня, стал говорить, что ему теперь хорошо, он совсем легко себя чувствует, и что поэтому я могу пойти заснуть. Я отказался, сказав, что спать не хочется. „А это кто храпит?" —Душан Петрович.—„Да?" Это очень хорошо, это мне нравится. Он так устал со мной. Он у всякой родильницы по ночам просиживает, как со мной вот сидел, святой человек".

Через несколько времени Л. Н. спросил, откуда я, велик ли город Данков, большая ли больница. Вспомнил слободы около Данкова: Сторожевую, Казачью и др. Сказал, что знает уезд, так как жил в нем. Затем заснул немного и, проснувшись, спро-

сил, приходилось ли мне видеть больных водобоязнью и бешенством. Я сказал, что приходилось. Л. Н. просил описать картину болезни. Очень интересовался, бывают ли люди в сознании в промежутках между припадками, сознают ли свое положение, и мучительны ли припадки, есть ли физическое страдание. Так как мне приходилось видеть таких больных, то я мог обрисовать картину страдания этой болезнью.—„Это ужасное страдание, сказал Л. Н.,—когда человек сознательно предупреждает, что сейчас будет кусаться, и просит связать его". (Это было сказано потому, что я особо подчеркнул, как больной просил себя связать, чувствуя приближение судорог). Видя, что я утомляю Л. Н-ча, я прекратил разговор, заметив, что вредно разговаривать, волноваться... Л. Н. послушался, но не надолго. Снова спрашивает, не приходилось ли мне видеть леченных прививками, но все-таки заболевших водобоязнью. А как раз я такой случай наблюдал недавно. Рассказываю. —„Без прививок какой исход?"—Без исключения смерть в страшных мучениях.—„Насколько прививки гарантируют от дурного исхода?"—Некоторый % прививок (около 30%) без результата.—„Как об'ясняют суть и смысл прививок?" Рассказываю, по мере сил, что мне известно о теории прививок и вакцинации. Л. Н. временами подсказывает мне выражения, которых я не могу подобрать, так как был очень усталый от дневной работы и от неожиданного впечатления видеть того Льва Николаевича, которого всегда любил и которому поклонялся.

Заметивши, что интерес Л. Н-ча к разбираемому вопросу все возрастает, я прекратил разговор, заявив, что рассуждения на эту тему подождут до завтра, а сейчас надо успокоиться и заснуть. Предложил пить. Л. Н. все, что я ни предлагал, принимал и благодарил, говоря: „Спасибо, голубчик". Спросил, долго ли проболеет, так как надо знать, когда поедет дальше.—„Ну, через 2-3 дня можно ехать?"—Я сказал, что болезнь протянется 2-3 недели. Инфлюэнца затягивается, а погода очень плохая, необходима осторожность и выдержка. Л. Н. остался очень недоволен и усмехаясь сказал: „Нам, старикам, хворать умирать." Это было в $5^1/_2$ часов 3 ноября. Очень скоро после этого проснулась Александра Львовна и Душан Петрович, которые застали Л. Н. заснувшим и сменили меня.

Утром, выходя из дома, где лежал Л. Н., я встретился с гр. Софьей Андреевной. Она очень интересовалась, как положение Л. Н., и завела длинный разговор у крыльца о всяких своих неприятностях. Удалось увести ее на вокзал, предложив до прихода пассажирского поезда, пока нет толчеи, напиться чаю.

В буфете вокзала С. А. очень подробно стала рассказывать, как она издавала сочинения Л. Н-ча и скольких хлопот ей стоило это; а Л. Н. всегда был безразличен к технической стороне дела. Приходилось ездить, хлопотать и встречать разное к себе отношение. Видела Александра III, и он очень любезно ее принял, а начальник штаба Оберучев, когда пришлось хлопотать о помиловании одного толстовца, отказавшегося от военной службы, принял ее очень сурово. Только когда она сказала, что он, вероятно, Московского Университета („ведь и вы тоже Московского Университета,—сказала она мне,—я сразу узнаю, кто Московского, они все меня любят"), он сразу переменил тон и сделал все, что она просила.

А от'езд Л. Н-ча так на нее повлиял, что она покушалась на самоубийство. Нарочно кидалась на спину в воду, чтобы захлебнуться. Ее вытащили, она хворала. Сергей Львович, бывший при этом разговоре, старался его замять, так как кругом видны были прислушивающиеся люди, и наконец предложил матери уйти в вагон. С прибывшим поездом приехал д-р Никитин из Москвы. Идем снова в дом начальника станции. Является вопрос, как сказать Л. Н-чу о его приезде. Было решено, что он просто войдет и поздоровается, а когда спросят, как он попал сюда, скажет, что его вызвала Александра Львовна. Л. Н. встретил его очень радостно, вполне спокойно отнесся к тому, что его вызвала Александра Львовна, и стал расспрашивать, как он живет и где служит. Узнав, что он хотел бы занять место ординатора в городской больнице в Москве, Л. Н. сказал, что очень рад, и что врач может принести много пользы и дать много облегчения.

После консилиума, на котором установлена была наличность катаррального процесса легких и выработан план лечения, сводившийся к поддержке сердца в виду его слабости, д-р Никитин, на мое указание тяжести заболевания при слабости сердца, ска-

зал, что Л. Н. в Ялте в 1902 году был куда хуже, но благополучно вышел из опасного положения. Поэтому он смотрит на будущее более светло, чем я.

В виду того, что мне необходимо было уехать в Данков, я выехал в среду 3 ноября около двух часов дня. На вокзале, куда я зашел справиться об отходе поезда, я встретил целую толпу корреспондентов, прибывших отовсюду с утренними поездами. Очень интересуются, обо всем расспрашивают, но в виду решения не давать сведений из домика начальника станции, я их любопытство удовлетворить не мог. По дороге в Данков, которую пришлось сделать на тормозе товарного вагона, кондуктор, зная, что я врач и видел Л. Н-ча, очень расспрашивал о его здоровье, о том, как его поместили, и высказывал свою грусть по поводу его болезни.

Отдохнув в Данкове, я мог уже отдать себе отчет во всем виденном и слышанном в Астапове. Как-то все окружающие детали уже не стали отвлекать, и осталось только впечатление от того, что мне пришлось видеть великого Толстого.

А. П. Семеновский.

ТЕЛЕГРАММА

Пбг Ревизия Гарина Семеновскому

С П Р Перекупной 15.

Лев Николаевич скончался шесть пять

Александр.

Какие были последние слова Л. Н. Толстого?

Знаменитый германский ученый Макс Мюллер в своей книжке об индусском святом Рамакришне[1]) говорит о том, по его выражению, „диалогическом процессе», которому подвержены все исторические события,—процессе, состоящем в тех изменениях, „которые неизбежно производятся простым сообщением и обменом идей“. „Едва ли есть, - говорит он,— хоть один исторический факт, который избежал бы некоторого изменения благодаря этому процессу прежде, чем он дойдет до историка, записывающего его“. Уже через месяц, через день „всякое сообщение должно подвергнуться последствиям диалогического процесса, должно быть заражено дыханием человеческой мысли и человеческой слабости“. Макс Мюллер полагает, что много трудностей было бы разрешено, много противоречий в учениях великих основателей религий было бы об‘яснено, если бы только историки принимали во внимание всю силу и все влияние диалогического процесса и помнили бы, что мы не знаем и не можем знать ничего из истории, что не прошло бы через этот процесс.

Как часто, читая воспоминания о Льве Николаевиче (особенно записи тех разговоров, которых я сам был свидетелем), приходилось мне вспоминать эти замечательные слова знаменитого языковеда. Как часто мне было совершенно ясно, что записывавший слова Льва Николаевича, воображая, что передавал их совершенно точно, на самом деле совершенно извращал не только оттенки, но и самую сущность высказанной при нем великим мудрецом мысли. Изучая литературу о последних днях Льва Николаевича, я убедился, что даже его последние понят-

[1]) Пр. Макс Мюллер. Шри Рамакришна Парамагамза. Его жизнь и учение. Перев. с англ. И. Ф. Наживина. М. 1913. изд-во „Зеленая палочка“. Стр. 38-42.

ные окружающим слова (о том, что нужно помнить не об одних близких своих, а обо всех страдающих людях), выражающие его завет человечеству, в различных записях передаются различно.

Существует шесть печатных записей этих слов:

1) Алекс. Льв. Толстой в беседе с корреспондентом С. П. Спиро. („Русское Слово“ 8 дек. 1910):

2) В. Г. Черткова в его книжке „О последних днях Л. Н. Толстого“. М. 1911, изд. Сытина, стр. 14;

3) Д. В. Никитина в статье „Последние дни Л. Н. Толстого“. („Русские Ведомости“, 6 ноября 1911 г.);

4) А. Б. Гольденвейзера в его книге: „Вблизи Толстого“. М. 1923, изд. «Кооперат. издательства». Том II, стр. 356.

5) А. Л. Толстой в ее записках «Об уходе и смерти Л. Н. Толстого», напечатанных в четвертом сборнике: «Толстой. Памятники творчества и жизни». М. 1923, изд. «Кооперат. Т-ва Изуч. и Распростр. Творений Л. Н. Толстого», стр. 180;

6) Т. Л. Сухотиной в письме к мужу М. С. Сухотину, напечатанном в 4-м томе «Биографии Л. Н. Толстого», составленной П. И. Бирюковым (М., 1923. изд. Госуд. Изд-ва, стр. 252).

Как известно, слова эти были произнесены Львом Николаевичем за день до кончины, 6 ноября 1910 г., когда при нем находились только его дочери. По словам Александры Львовны, «отец вдруг сильным движением привстал и почти сел на кровати» и, «твердо и ясно выговаривая каждое слово», произнес свои последние, понятные живым слова. Посмотрим теперь, как переданы эти слова всеми опубликовавшими их лицами.

1) По словам А. Л. Толстой в беседе с корреспондентом, Л. Н. произнес: «Только одно советую вам помнить: есть пропасть людей на свете, кроме Льва Толстого, а вы смотрите на одного Льва».

2) В. Г. Чертков со слов Татьяны Львовны передает последние слова Л. Н-ча так: «Только одно советую вам,—помнить, что на свете есть много людей, кроме Льва Толстого, а вы смотрите только на одного Льва».

3) В передаче Д. В. Никитина: «Одно только прошу вас помнить: на свете пропасть народа, кроме Льва Толстого, а вы смотрите на одного Льва».

4) А. Б. Гольденвейзер: «Помните одно: есть на свете пропасть народу, кроме Льва Толстого, а вы все смотрите на одного Льва».

5) В своих записках «Об уходе и смерти Л. Н. Толстого» Александра Львовна передает слова Л. Н-ча с небольшой разницей против того, как она же раньше передавала их корреспонденту, а именно: «Только одно советую вам помнить, что на свете есть много людей, кроме Льва Толстого, а вы смотрите только на одного Льва».

6) И наконец, по записи Татьяны Львовны: «Только одно советую вам помнить: есть пропасть людей на свете, кроме Льва Толстого, а вы смотрите на одного Льва».

Рассматривая все эти записи, мы видим, что только запись Татьяны Львовны и первая запись Александры Львовны вполне, буквально совпадают одна с другой; во всех же других записях есть различия. Анализируя отличия этих записей, следует, как мне кажется, притти к следующим выводам.

1) В записи Д. В. Никитина значится «прошу», а не «советую». Это отличие встречается только у Д. В. Никитина и, очевидно, должно быть признано неточностью.

2) Такой же неточностью должно быть признано и начало записи А. Б. Гольденвейзера («Помните одно»), также встречающееся лишь у него одного.

3) В записи В. Г. Черткова неправильная пунктация: запятая и тире между «советую вам» и «помнить». Это, несомненно ошибка, встречающаяся лишь в этой записи. Короткие, дорогие ему мысли Лев Николаевич передавал окружающим обыкновенно без пауз.

4) В записи В. Г. Черткова и в записках А. Л. Толстой стоит: «много людей»; во всех остальных записях —«пропасть».. Последнее выражение («пропасть людей») было более естественно в устах великого художника, чем заурядное—«много людей». Тем более, что Л. Н. употреблял это самое выражение и в своих писаниях [1]).

---

[1]) См., например, в статье: „Так что же нам делать?“ в гл. XXIV: „Мы произвели пропасть людей в великие писатели“. В письме к В. В. Арсеньевой от 1 декабря 1856 г.: „У меня пропасть книг, которые хочется прочесть, пропасть нот, которые хочется разыграть, пропасть мыслей, которые хочется записать“. В „Анне Карениной“ (часть II, гл. XIV): „У него за время его уединения набиралось пропасть мыслей и чувств“.

5) В записи Д. В. Никитина читаем: «пропасть народа», а у А. Б. Гольденвейзера – «пропасть народу»; во всех остальных записях слово «народ» не встречается, а говорится—«людей». И слово «людей" в данном случае кажется более подходящим.

6) В записи А. Б. Гольденвейзера есть лишь у него встречающееся слово «все». Слово это представляется лишним.

7) В записях В. Г. Черткова и в записках А. Л. Толстой сказано: «Только на одного Льва»; в остальных записях слова «только» нет. Слово это ничем не нарушило бы стройности мысли великого проповедника любви; но тот факт, что его нет в первоначальных записях А. Л. Толстой и Т. Л. Сухотиной, делает вполне вероятным предположение, что слово это не было произнесено.

Таким образом наиболее близкой к действительности, а может быть и буквально точной следует признать запись, сделанную первоначально А. Л. Толстой и Т. Л. Сухотиной, а именно:

«Только одно советую вам помнить: есть пропасть людей на свете, кроме Льва Толстого, а вы смотрите на одного Льва».

Все остальные записи следует признать более или менее неточными.

Н. Гусев.

Циркуляр министра внутренних дел П. А. Столыпина о праздновании юбилея Л. Н. Толстого.

(Подлинник хранится в Архиве Толстовского Музея в Москве).

На подлиннике пометка:

Иркутское Охранное Отдѣленіе
ПОЛУЧЕНО
9 Апр. 1908
Вх. № 1057.

М. В. Д.
Департаментъ полиціи.
По 4 Дѣлопроизводству.

Секретно.
Циркулярно.

Генералъ-Губернаторамъ, Губернаторамъ, Градоначальникамъ и Начальникамъ Губернскихъ Жандармскихъ Управленій и Охранныхъ Отдѣленій.

18 Марта 1908 г.
№ 64505.

Замѣчаемое за послѣднее время усиленное обсужденіе періодической печатью вопроса о способахъ и формахъ чествованія 80-тилѣтней годовщины со дня рожденія одного изъ виднѣйшихъ представителей русской литературы графа Л. Н. Толстого, въ связи съ всемірною извѣстностью этого писателя и тѣми особыми условіями, въ которыхъ онъ стоитъ, благодаря своимъ произведеніямъ, къ Православной церкви и существующему въ Имперіи государственному строю, приводитъ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ къ не-

обходимости высказать свой взглядъ на вышеуказанный вопросъ и свое отношеніе какъ къ предстоящему юбилейному торжеству непосредственно, такъ, въ частности, и къ тѣмъ внѣшнимъ проявленіямъ со стороны разныхъ слоевъ общества, которыми оно неминуемо будетъ сопровождаемо.

Въ этихъ видахъ Министерство считаетъ нужнымъ разъяснить, что предстоящее чествованіе помянутаго писателя само по себѣ, конечно, не можетъ и не должно быть поводомъ къ принятію со стороны мѣстныхъ административныхъ органовъ какихъ либо репрессивныхъ мѣръ до тѣхъ поръ, пока тѣ или другія формы и способы этого чествованія не будутъ выходить изъ предѣловъ законности и принимать попутно характеръ демонстративный по отношенію къ существующему государственному строю и мѣропріятіямъ Правительства. Посему мѣстная администрація, относясь къ предстоящему событію вполнѣ спокойно и отнюдь не придавая ему государственнаго и даже вообще оффиціальнаго значенія, но вмѣстѣ съ тѣмъ и не препятствуя общественнымъ кружкамъ, органамъ прессы и частнымъ лицамъ въ обсужденіи и подготовленіи празднованія, должна лишь внимательно наблюдать за тѣмъ, чтобы какъ предварительная газетная агитація и предварительная разработка помянутаго вопроса въ собраніяхъ городскихъ и общественныхъ учрежденій, отдѣльныхъ общественныхъ, литературныхъ и другихъ кружковъ, такъ и самое осуществленіе чествованія въ формѣ торжественныхъ засѣданій, спектаклей, чтеній, банкетовъ, посылки депутацій, адресовъ, привѣтственныхъ телеграммъ и проч., не сопровождались нарушеніемъ существующихъ законовъ и распоряженій правительственной власти, а въ случаѣ нарушенія твердо и неуклонно прекращать такія незакономѣрныя проявленія всѣми зависящими средствами, привлекая виновныхъ къ законной отвѣтственности. При этомъ особенно пристальное вниманіе правительственныхъ органовъ должно быть направлено къ прекращенію всякихъ попытокъ къ использованію со стороны неблагонадежныхъ элементовъ населенія настоящаго событія въ цѣляхъ противоправительственной агитаціи, каковыя по-

пытки тѣмъ болѣе возможны, что проповѣдуемыя графомъ Л. Н. Толстымъ идеи представляютъ для подобной агитаціи самый широкій просторъ. Имѣющіяся уже на сей предметъ указанія общаго закона и отдѣльныя распоряженія Министерства и, въ частности, законоположенія и распоряженія относительно періодической прессы и публичныхъ и частныхъ собраній несомнѣнно дадутъ представителямъ мѣстной власти полную возможность поступить въ соотвѣтственных случаяхъ сообразно съ интересами государственнаго порядка и общественнаго спокойствія.

Подписалъ: Министръ Внутреннихъ Дѣлъ. Статсъ-Секретарь П. Столыпинъ; скрѣпилъ: Директоръ Трусевичъ.

Вѣрно: Помощникъ Дѣлопроизводителя В. Гороховскій.

Секретная переписка тульских архиереев Парфения и Евдокима с тульским губернатором Д. Д. Кобеко о погребении Л. Н. Толстого.

(Извлечено из совершенно секретного» Дела Канцелярии Тульского Губернатора секретного стола. О состоянии здоровия гр. Л. Н. Толстого», № 390, начатого 14 декабря 1909 года. На 271 листе. Хранится в Толстовском Музее в Москве. Переписка занимает листы 35, 36. 37, 39 и 46).

Совершенно-довѣрительно.

Его Преосвященству Евдокиму
Епископу Каширскому.
Ноября 5 дня 1910 г.
№ 14700.

Преосвященнѣйшій Владыко
Милостивѣйшій Архипастырь.

Сего числа получена мной отъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ слѣдующая телеграмма: «Если въ случаѣ смерти графа Льва Толстого поступятъ просьбы о служеніи панихидъ, не оказывайте противодѣйствія и предоставьте всецѣло разрѣшеніе этого вопроса мѣстной духовной власти. Никоимъ образомъ не допускайте никакихъ выступленій противоправительственнаго характера».

Въ виду изложеннаго прошу увѣдомить меня, въ возможно непродолжительномъ времени, можетъ ли быть допущено, въ случаѣ смерти графа Льва Толстого, служеніе въ Тульской епархіи панихидъ по немъ.

Испрашивая святительскихъ молитвъ Вашихъ и архипастырскаго благословенія, имѣю честь, съ отличнымъ уваженіемъ и совершенной преданностью быть Вашего Преосвященства покорнѣйшимъ слугою

под.: Дмитрій Кобеко.

Вѣрно: Старшій Помощникъ Правителя (подпись).

Ваше Превосходительство

Глубокоуважаемый Дмитрій Дмитріевичъ.

Сегодня (3 ноября) предъ засѣданіемъ Синода Оберъ-Прокуроръ сообщилъ, что П. А. Столыпинъ, предполагая командировать туда, гдѣ находится графъ Л. Н. Толстой, чиновника особыхъ порученій, прислалъ его узнать, не послѣдуетъ ли какихъ-либо распоряженій Синода. Послѣ продолжительныхъ на эту тему разговоровъ я предложилъ на разрѣшеніе членовъ Синода и Оберъ-Прокурора Ваше недоумѣніе, какъ поступить, если—въ случаѣ смерти графа Льва Толстого безъ покаянія, — окажется священникъ, который рѣшится совершить отпѣваніе по чину Православной Церкви. Члены Синода высказались въ томъ смыслѣ, что у Губернатора нѣтъ средствъ остановить незаконныя дѣйствія священника, но последній будетъ подвергнутъ отвѣтственности, если совершитъ отпѣваніе.

Затѣмъ началось обычное засѣданіе, а Оберъ-Прокуроръ пригласилъ меня въ свой кабинетъ, гдѣ поджидалъ отвѣта чиновникъ особыхъ порученій. Ему Об.-Прок. передал содержаніе разговоровъ, бывшихъ въ Синодѣ, а затѣмъ просилъ меня разсказать, что мнѣ извѣстно о послѣднихъ событіяхъ въ жизни Л. Н. Толстого. Въ заключеніе опять повторено было (для чиновника П. А. Столыпина) мнѣніе Синода о невозможности для Губернатора остановить священника, который сталъ бы—вопреки постановленію Свят. Синода—совершать отпѣваніе.

Позвольте благодарить Васъ за вниманіе, которое оказали мнѣ при моемъ отъѣздѣ.

Устраиваюсь пока на своемъ подворьѣ (Вас. Остр., Николаевская набер., 39). Все приходится заводить вновь, или выписывать из Тулы.

Желаю Вамъ отъ Господа здоровья и благополучія.

Вашего Превосходительства покорный слуга и богомолецъ Епископъ Парфеній.

1910 г.
Ноября 3.

В. П. И.

Епископъ Каширскій.
Викарій
Тульской Епархіи.

Ноября 6 дня 1910 г.
№ 3136
г. Тула.

Ваше Превосходительство,
Милостивѣйшій Государь.

На отношеніе Вашего Превосходительства за № 4700 о служеніи панихидъ въ случаѣ смерти графа Л. Н. Толстого, долгъ имѣю отвѣтить нижеслѣдующее:

Пока постановленіе Св. Синода объ отлученіи графа Толстого отъ Церкви не отмѣнено, не можетъ быть никакой рѣчи о служеніи о немъ панихидъ.

Какихъ-либо инструкцій по данному вопросу изъ Св. Синода я не получалъ.

Призывая на Васъ Божіе благословеніе, честь имѣю быть Вашимъ покорнѣйшимъ слугою и богомольцемъ

Епископъ Евдокимъ.

Епископъ Каширскій.

Ваше Превосходительство,
Глубокочтимый Дмитрій Дмитріевичъ,

Приношу глубокую благодарность за извѣщеніе о смерти Графа Л. Н. Толстого. Что-то будетъ дальше. Преосвященный Парфеній сказалъ мнѣ, что мой отвѣтъ Вашему Превосходительству о служеніи панихидъ правиленъ, пока не послѣдуетъ какихъ-либо новыхъ распоряженій со стороны Св. Синода

Вашего Превосходительства покорный слуга и богомолецъ Епископъ Евдокимъ.

7 н. 1910 г.

К цензурной истории „Сказки об Иване-дураке“ Л. Н. Толстого[1].

(По неизданным материалам.)

I.

„Я написал сказку. Хорошо бы ее издать у Сытина, но *цензура* не пропустит, и потому хочу попытаться напечатать ее в «Неделе» или в полном собрании. Мне эта сказка нравится. Желал бы знать ваше впечатление“[2], сообщал Толстой В. Г. Черткову 24 октября 1885 г.

Под невинным заголовком «сказки» и внешне наивной фабулой таящая едкую политическую сатиру на монархию, милитаризм и капитализм — «Сказка об Иване-дураке», конечно, недаром едва ли не с первого момента ее создания внушила Толстому сомнение и страх перед цензурой.

Почти двухлетний к тому времени опыт «Посредника» внятно подсказывал, что сразу об отдельном — доступном для массы — издании нового «народного» творения не приходится и думать. Оставалась надежда добиться одобрительного грифа цензуры окольным путем: втиснуть «Ивана-дурака» сначала в пестрый материал периодического — вне предварительной цензуры — органа; или — в новое издание «Полного собрания сочинений», в ту пору как раз подготовляемого С. А. Толстой; и лишь после этого переиздать «Сказку» отдельной доступной брошюрой в опальном «Посреднике». Но появление «сказки» и на страницах журнала, как оказалось, могло быть обеспечено лишь кощунственным искажением ее текста. Поэтому, Толстому естественно

---

[1]) Выделено из подготовляемой к печати (с восхождением к рукописям) «Истории *Сказки об Иване-дураке*».

[2]) «Толстовский Ежегодник 1913 года», СПБ. 1914; отд. II, стр. 30.

было уступить[1]) настояниям жены-издательницы: „Сказку с некоторыми *пропусками* берется редактор напечатать. Я подумал, не лучше ли, в самом деле, в полное издание, как ты хотела. Так что я отложил до твоей поездки в Петербург; там со Страховым[2]) рассудите“ [3]).

На последнем предположении Толстой и остановился окончательно. Это видно из его ответа В. Г. Черткову, который успел уже сообщить автору свое впечатление о новой сказке: „Вашими замечаниями о Иване-Дураке я воспользовался. Он печатается в полном собрании. Жена везет в Петербург и, если придется, то с изменениями напечатаем у Сытина“ [4]).

Однако, начальные опасения оказались на сей раз преувеличеными. В ряду явно «неблагонадежных» (как, напр., «В чем моя вера?») писаний, представленных в Цензурный Комитет,—подлинный смысл замаскированного памфлета остался, повидимому, неразгаданным. И в апреле 1886 года «Сказка об Иване-дураке» была пропущена цензурой в „12 части“—XII-м дополнительном томе,—куда вошли новые произведения Толстого, написанные после выхода в свет еще в 1880 году одиннадцатитомного издания «Собрания сочинений».

Неожиданно благополучный[5]) исход более полугода длившей-

[1]) Толстой сначала не соглашался на это, в виду недоступности для широкого читателя дорого стоющего «*Полного* собрания сочинений».

[2]) Н. Н. Страхов помогал С. А. Толстой в этом первом ее выступлении на издательском поприще. Ср., между прочим, резко отрицательный отзыв Страхова о «Сказке об Иване-дураке» в письме к Толстому от 26—X—85 г. («Толстовский Музей», том II, „Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым“. СПБ., 1914; стр. 326-327).

[3]) «Письма Л. Н. Толстого к жене», М. 1915, стр. 277.

[4]) Толстовский Ежегодник 1913 г.», стр. 31 (письмо от 18—XI—1885 г.) „Замечания“, которыми Толстой „воспользовался“, В. Г. Чертков изложил в своем письме к нему от 11 ноября: „... в Иване-дурачке кое-что есть, мне кажется, что не совсем удачно и немножко вредит. Зачем «Немец» купец? Просто «богатый» купец. Потом скажу последние слова рассказа «со свиньями» я выпустил бы. Они здесь не нужны и вредят. Я бы кончил так: «Только один есть у него обычай в царстве—у кого мозоли на руках—полезай за стол, а у кого нет—тому об'едки». Понятие о *законе* в царстве Ивана Дурачка противоречит его характеру: там все больше «ну что ж“. (Из неизданного письма).

[5]) Запрещена цензурой была лишь рукопись «В чем моя вера?», которую пришлось заменить «Статьей о переписи».

ся цензурной тяжбы вызвал в Толстом чувство нескрываемого восторга; и последний выпал, главным образом, на долю особенно любимой автором и внушавшей наиболее серьезные опасения «Сказки об Иване-дураке». „Очень радуюсь за тебя, за 12-ую часть, и для *себя* радуюсь *преимущественно* за Ивана-дурака",— читаем мы в письме Толстого к издательнице «сказки»[1], а В. Г. Черткова он в тот же день извещает: „Ивана-дурака я рад, что пропустили в 12-й ч." [2]).

В том же 1886 году «Сказку об Иване-дураке» удалось выпустить и отдельным изданием—сначала в народном издательстве «Посредник», затем она была перепечатана и другими издательствами.

II.

Но цензурная судьба «Ивана-дурака» на этом не кончается.

Благополучно миновавшая первую сеть цензурных злоключений, уже в продолжение шести лет печатавшаяся в трех последующих изданиях «Полного собрания сочинений», изданная и распроданная в сотнях тысяч отдельных экземпляров,—в 1892 году «Сказка об Иване-дураке» снова привлекает внимание цензуры. На этот раз цензурный статут явился поприщем для координирования деятельности Комитета по делам печати с очередной практикой высших полицейских учреждений. Этому, несомненно, в значительной степени способствовали духовные органы.

Очередное—15 января 1886 года—заседание Общества Любителей Духовного Просвещения было специально посвящено обсуждению мер противодействия народным брошюрам Толстого[3]). В виду своей малолюдности, собрание не вынесло покуда никаких определенных решений. Однако, учитывая опыт прошлого— сочувствие к пропаганде О-ва против «пашковцев» сначала печати, а потом и правительственных сфер,—Любители Духовного Просвещения пришли к заключению, „почему-бы Обществу не принять на себя почина в деле противодействия распространению

[1]) «Письма к жене», стр. 293.
[2]) «Толстовский Ежегодник 1913 г.», стр. 37.
[3]) «Московские Церковные Ведомости», 1886. № 4; стр. 51-2.

и новых — Толстовских сектантских бредней, не менее, если не более Пашковских вредных?" [1]).

С этого момента почти в каждом номере[2]) печатного органа Общества уделяется не мало места вопросу о народных брошюрах Толстого, делаются подробнейшие тенденциозные обзоры их[3]). А один из сотрудников «Московских Церковных Ведомостей»— священник Л. Воздвиженский — сетовал, между прочим, и на появление по Никольской улице «*ходебщиков*», среди прочих народных изданий „выкрикивающих.... десять рассказов Гр. Толстого... Теперь каждый ходебщик с народными изданиями непременно запасается и его рассказами, так как они нравятся читателям". Являясь, разумеется, принципиальным сторонником пресечения «вредного» издательства, дальновидный автор цитируемой заметки в то же время настоятельно рекомендует сельским священникам ознакомиться с содержанием рассказов Толстого. Ибо с каждым днем увеличивается „проникновение (в деревню), хотя пока и бессознательное, известных идей Толстого", и недалек момент, когда придется „показать несостоятельность этого нового учения" [4]).

Месяц спустя (20—II) в другом обществе—«распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви» также обсуждался вопрос „о противодействии учению гр. Л. Н. Толстого" [5]).

Среди прочих факторов, разумеется, и это влияние не могло не сыграть своей роли (недаром первое Общество было остроумно названо *сыскным* по литературным делам отделением[6]) в

[1]) «Моск. Церк. Вед.», № 4. стр. 52. 21 июня 1882 года мин. внутрен. дел был издан специальный циркуляр за № 608 о недопущении сношений сектантов-пашковцев с Л. Н. Толстым; см. статью А. *Дунина*: „Среди сектантов. Пашковцы. Из забытого прошлого", помещенную в «Русской Молве» 1913 г., 15—II, № 66.

[2]) См.—кроме уже упомянутых—еще, напр., №№ 16, (стр. 239), 24 (361), 28 и т. д.

[3]) Ср. в № 4, стр. 51; особенно— критический разбор С. С-кого, (№ 24, стр. 361), где в перечне уже значится и «*Сказка об Иване-дураке*».

[4]) *Л. Воздвиженский*. Современная злоба дня». («Моск. Ц. В.», 1886, № 13, стр. 215).

[5]) Там же, № 9, стр. 139.

[6]) *П**. „Странная полемика". („Современные Известия", 1886 г.; ср. также—„М. Ц. В.", № 28, стр. 418).

издании Главным Управлением по делам печати целого ряда «толстовских» циркуляров[1]). В числе последних были изданы и следующие два распоряжения—специально о «Сказке об Иване-дураке»:

М. В. Д. — *Циркулярно.*

Главное Управленіе по дѣламъ печати 20 Января 1892 г. № 430.

Цензурнымъ Комитетамъ и Г.г. Отдѣльнымъ Цензорамъ по внутренней цензурѣ.

Главное Управленіе по дѣламъ печати, признавъ необходимымъ воспретить на будущее время перепечатаніе брошюры Графа Л. Толстого подъ заглавіемъ «Сказка объ Иванѣ дуракѣ и его двухъ братьяхъ: Семенѣ-воинѣ и Тарасѣ-брюханѣ и нѣмой сестрѣ Меланьѣ и о старомъ дьяволе и трехъ чертенятахъ», сообщаетъ объ этомъ для зависящаго распоряженія, Цензурнымъ Комитетамъ и Г.г. Отдѣльнымъ Цензорамъ по внутренней цензурѣ, въ дополненіе къ циркуляру отъ 20 августа 1887 г. за № 3119.

Подписалъ Начальникъ Главнаго Управленія по дѣламъ печати Е. Ѳеоктистовъ.

Скрѣпилъ: Завѣдывающій дѣлопроизводствомъ, Членъ Совѣта В. Адикаевскій.

Вѣрно: за помощника Правителя Дѣлъ (собственнор. подпись [2]).

---

[1]) В № 24 «Моск. Церк. Ведомостей» прямо говорится: „Брошюры его (Толстого) расходятся уже вполне законно,—с одобрением *цензуры*. По моему убеждению, некоторых ни в каком случае *нельзя было одобрить* для народного употребления. Но существует ли вообще цензура, следящая за направлением? Есть ли твердые понятия о том, чего она, как представитель государства, не может и не должна допускать? Что одобрение цензуры далеко не есть гарантия благонадежности, это, к несчастию, неоспоримо. Кому из сколько нибудь следивших за историей литературы и общ. движений истекшей эпохи не известно, какое зловредное, растлевающее влияние имела литература либерально-радикального оттенка, начиная с 60-х годов, насколько она виновна в пережитых Россией несчастиях, в какую пропасть она ее вела,—и вся деятельность совершалась под благосклонным надзором цензуры!!" (стр. 361).

[2]) Одесское Областное Архивное Управление. „Дело № 192 Отдельного Цензора по внутренней цензуре: О распоряжениях Гл. Упр. по дел. печ. Нач. 10—I—1892, конч. 11—XII—92, на 39 лист".

В цитируемых здесь и далее официальных документах сохраняется орфография и все особенности подлинников.

Этот циркуляр, в корне пресекающий дальнейшее легальное размножение отдельных экземпляров «Сказки», был сопровожден другим, —в тот же день изданным и не менее решительным; цель его — прекратить распространение и остающегося еще запаса старых изданий «Ивана-дурака»:

М. В. Д.

Главное Управленіе
по
дѣламъ печати — *Циркулярно.*
20 Января 1892 г.
№ 429.

Г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, на основаніи ст. 178 Уст. о ценз. и печ. (изд. 1890 г.), призналъ необходимымъ воспретить розничную продажу на улицахъ, площадяхъ и другихъ публичныхъ мѣстахъ, а равно чрезъ ходебщиковъ и офеней, брошюры подъ заглавіемъ: «Сказка объ Иванѣ дуракѣ и его двухъ братьяхъ: Семенѣ-воинѣ и Тарасѣ-брюханѣ и нѣмой сестрѣ Маланьѣ и о старомъ дьяволѣ и трехъ чертенятахъ. Льва Толстаго».

О таковомъ распоряженіи Г. Министра Главное Управленіе по дѣламъ печати имѣетъ честь увѣдомить Васъ, Милостивый Государь, для зависящаго распоряженія.

Подписалъ Начальникъ Главнаго Управленія по дѣламъ печати Е. Θеоктистовъ.

Скрѣпилъ: Завѣдывающій дѣлопроизводствомъ, Членъ Совѣта В. Адикаевскій.

Вѣрно: За помощника Правителя Дѣлъ (собственнор. подпись [1]).

Претворение в жизнь новоизданных распоряжений не заставило себя долго ждать. Опасения, высказанные подневольным — среди сельских пастырей — «пропагандистом» народных брошюр Толстого, которые „разносятся.... не только по многолюдным столичным пунктам...., но направляются по разным ярмаркам и

[1]) Там же.—Ст. 178 Уст. о ценз. см.: „Св. закон.". т. XIV (срв. В. П. Ширков: „Уст. о ценз. и печ.", СПБ., 1900).

сельским базарам“[1])—были вполне основательны. Действительно, местом реального применения центральных циркуляров оказался окраинный провинциальный юг.

III.

Именно—в архиве Одесского Жандармского Управления хранится „секретное“ «дело», с неопределенным заголовком: «С Перепискою несоставляющею особых дел»[2]). Но листы 73-79 этого «дела»,—охваченные особой внутренней папкой с надписью: «Наряд о Содержателе книжной лавки Губанове и Владимире Курочкине»,—имеют непосредственное отношение к нашей теме:

Начальникъ
Таврическаго
Губернскаго
Жандармскаго
Управленія

Секретно [3]).

Мая 21 дня 1894
№ 1690
Г. Симферополь.

Помощникъ мой въ Ялтинскомъ уѣздѣ Подполковникъ Конради, рапортомъ отъ 18-го сего Мая, за № 155, донесъ мнѣ: Крестьянинъ Иншинской волости и села, Алексинскаго уѣзда, Тульской губерніи, Владиміръ Аѳонасьевъ Курочкинъ, проживая нынѣ въ г. Ялтѣ, получаетъ книги и брошюры для продажи въ разносъ, отъ содержателя книжной лавки—въ г. Одессѣ, Губанова. При осмотрѣ 16 сего Мая книгъ и брошюръ, продаваемыхъ для народнаго чтенія Курочкинымъ, была обнаружена нижеозначенная книга, которая изъята изъ розничной продажи, согласно распоряженія Главнаго Управленія по дѣламъ печати, отъ 20-го Января

[1]) „Моск. Церк. Вед.“, 1886, № 13, стр. 215.
[2]) 1894 года, № 4, т. 1-ый.
[3]) На имя Начальника Одесского Жандармского Управления.

1892 года за № 429 [1]): «Сказка объ Иванѣ дуракѣ и его двухъ братьевъ [2]): «Семенѣ-воинѣ и Тарасѣ-брюханѣ и нѣмой сестрѣ Маланьѣ и трехъ чертенятахъ» Льва Толстого; на обложкѣ-же напечатано Типографія Вильде [3]) дозволено цензурою въ Москвѣ, 15 апрѣля 1887 года.

О вышеизложенномъ, имѣю честь сообщить, для свѣдѣнія Вашему Высокоблагородію.

Полковникъ (собственноручн. подп. [4]).

Через два дня (23-го) полученное в канцелярии Начальника Одесского Жандармского Управления—текстуально приведенное донесение вдруг поставило на ноги высшие инстанции местной охранительной власти, породив целый ворох бумажного делопроизводства.

Уже 25-го того же мая полковником Пирамидовым был отправлен Одесскому Полициймейстеру «весьма нужный, секретный» запрос „о собрании и сообщении тайных сведений“, действительно ли находится в Одессе книжная торговля Губанова, „и в утвердительном случае, где таковая помещается, как имя отчество Губанова, его местожительство, происхождение и сколько времени он здесь ведет торговлю книгами“ [5]).

Задание, возложенное на полициймейстера, было, очевидно, не из легких: ответ,—правда с исчерпывающей полнотой [6]),—последовал лишь 10 дней спустя (4—VI), из «Стола Секретного» канцелярии полициймейстера Бунина.

Вооружившись столь подробной справкой и в „предположении“, что Старший Инспектор типографий, литографий и т. п. заведений и книжной торговли „найдет полезным произвести контроль в лавке Губанова на предмет из‘ятия изданий не под-

[1]) Этот циркуляр см. выше (гл. II).

[2]) Sic!

[3]) Изд. О. Лузиной, 12⁰, 35 стр., 30.000 экз.

[4]) Лист 73 (лиц. и обор.).

[5]) Лист 74.

[6]) ...книжная торговля Губанова находится в г. Одессе, по Преображенской улице в доме Тангура, № 33, влад[елец] этой торговли московский купец Ефим Александров Губанов живет постоянно в Москве; торговля эта существует в г. Одессе с Июля м-ца 1889 г. и заведывает ею племянник его, крестьянин Николай Михайлов Губанов“ (лист. 75).

лежащих обращению в публике". Начальник Жандармского Управления 7 июня послал Инспектору «совершенно секретное» о том предписание за № 1760[1]).

Вот ответ-исполнение старшего инспектора, проявившего, кроме своих непосредственных обязанностей по цензуре, чисто филерские способности:

М. В. Д. — Секретно.

Инспекторъ
типографій и литографій
и т. п. заведеній
и
книжной торговли.

11 Іюня 1894
№ 279
г. Одесса.

Господину Начальнику Одесскаго Жандармскаго Управленія.

Вслѣдствіе отношенія отъ 7 Іюня, за №1760 имѣю честь увѣдомить Ваше Высокоблагородіе, что прибывъ 10 сего Іюня въ книжный магазинъ купца Губанова въ сопровожденіи моего вольнонаемнаго секретаря, (Коллежскаго Секретаря Василія Николаевича Уточкина, бывшаго цензора), я обнаружилъ въ названномъ магазинѣ сорокъ экземпляровъ «сказки объ Иванѣ-Дуракѣ и его двухъ братьяхъ и проч.», Льва Толстого. Москва. Тип. Вильде. Дозв. ценз. 15 апр. 1887 года.

Другихъ изъятыхъ изъ обращенія или запрещенныхъ брошюръ въ магазинѣ не оказалось.

Во время бытности моей въ магазинѣ, зашелъ неизвѣстный мнѣ человѣкъ, средняго роста въ очкахъ, съ сѣдоватой бородкой, державшій въ рукахъ портфель. При входѣ его, жена Губанова (самого хозяина не было) сдѣлала знакъ рукой, послѣ чего неизвѣстный немедленно удалился. Узнавъ отъ приказчика, что это ихъ постоянный «покупатель» и «разносчикъ», я приказалъ его вернуть и спросилъ

[1]) Лист 76-й.

у него фамилію. Онъ назвался Петромъ Максимовымъ Тараровымъ, служащимъ при полиціи.

Конфискованные экземпляры имѣю честь препроводить на распоряженіе Вашего Высокоблагородія, присовокупляя, что пять изъ нихъ оставлены при дѣлахъ инспекторскаго надзора.

Инспекторъ
Статскій Совѣтникъ (собственноручн. подп.) [1])

На совести местного «шефа жандармов» оставалась еще последняя обязанность: подробно донести обо всем происшедшем в высшую инстанцию —Департамент Полиции; это и было исполнено 15 июня[2]). А 24-го возвращены были Старшему Инспектору типографий и т. д. из 35 препровожденных в Жандармское Управление экземпляров «Сказки об Иване-дураке» уже только тридцать *три*, так как „два экземпляра таковой оставлены при делах подведомственного Управления" [3]).

Так, погребая в пыли архивов, «популяризировала» официальная Россия народные писания своего знаменитого современника[4]).

С. М. Брейтбург.

[1]) Лист 77 «дела».
[2]) л. 78.
[3]) Там же, 79 л.
[4]) В одном из дел фонда „Отдельного Цензора" нами найдено любопытнейшее „уведомление" Московского Цензурного Комитета от 27 августа 1892 г. за № 1309 о запрещении, вместе с другими рукописями, ***анонимного продолжения*** толстовской „Сказки":

„Московский Цензурный Комитет, признав рукописи 1 ... 2. „Царство дураков. Сказка. Продолжение сказки Л. Н. Толстого: „Иван-дурак"... подлежащими запрещению и удержав представленные оригиналы при делах Комитета,—имеет честь о сем сообщить для сведения" .... (№ 197: „О уведомлениях иногородних цензурных учреждений о запрещенных рукописях").

Лев Толстой и наука.

(Несказанная речь в день 90-летия со дня рождения Л. Н. Толстого).

Мировой гений мысли и художественного творчества, величайший из человеколюбцев, всю жизнь боровшийся против суеверий, предрассудков, неразумности в вере, строго научный исследователь св. Писания, такой скептик, отрицатель и величайший знаток природы, тела и души человека—противник науки! И еще в какой стране, на какой почве выросший!—Среди поголовной безграмотности, грубости, дикого суеверия, беспомощности, пьянства, повальных болезней от грязи и невежества, ужасающей общей и детской смертности, малочисленности учебных заведений и торжества поповского идолопоклонства и затмения—быть противником науки! Какое трагическое, непонятное, отталкивающее противоречие!...

Наука,—гордая, прекрасная, возвышенная,—наука до сих пор видела иных противников—против нее поднимались иные руки,—руки, покрытые грязью и кровью, руки, зажигавшие костры для мучеников веры и знания, руки, ковавшие цепи народу, руки, гасившие свет, готовые погасить и самое солнце. И, быть-может, впервые в истории против науки поднялись чистые, светлые, гениальные руки, создавшие величайшую красоту художества и написавшие прощальные слова любви к человечеству. Судили науку до сих пор Каиафа и Ирод, и мы знаем цену и цель их суда. Теперь наступает для нее иной—праведный суд. За что и почему?.....

Еще недавно все человечество верило, как Господу Богу, людям, одетым в странные костюмы, которые говорили именем Бога на всех языках и во всех частях света то, что представляет собою наибольшее суеверие, и проделывали самые страшные, ненужные, нередко губительные обряды, до человеческих

жертв включительно. И царили эти люди над всем человечеством, над телами и душами людей безраздельно и властно.

Самые нелепые, чудовищные, страшные и смешные суеверия владели умом и душой человека. В каждом дупле и в каждом ручье, и за каждой печкой и в каждом дворе сидели бесчисленные, то добрые, то злые боги, которым надо было угождать и молиться, а защитникам против злых и ходатаям перед добрыми надо нести не только цветы, но и жирных барашков; трещали бесчисленные костры для истеричек, одержимых дьяволом; избивали, отыскивая причину повальных болезней, —«жидов» и колдуний; отравленные хлебом со спорыньей шли в монастырь за исцелением, несли грошевые свечи колдунам против дождя и засухи, умирали от ничтожных болезней при помощи знахарей.

Если власть жрецов уменьшилась, если костры для истеричек угасли, если домовые исчезли, повальные болезни в культурных странах отходят в область предания, смертность ежегодно сокращается, против неурожаев борются не свечками, а агрономией, и на навозе суеверий вырастает золотое дерево положительных знаний и материальной культуры, и не сегодня, так завтра сделают, могут сделать человека сытым, здоровым, то все это сделает гордое познание человеческое.

Раньше человек смотрел на звездное небо и суеверно молился,—теперь же он самое небо сделал об'ектом научного исследования; раньше он падал ниц и ползал пред «помазанниками», теперь он подверг социальный строй научному изучению, и «помазанники» исчезли вместе с домовыми и ведьмами; раньше он видел в повальных болезнях работу раз'яренного бога-чудовища,—теперь видит окрашенную анилиновыми красками бациллу; раньше он мыслил личную и общественную жизнь по указаниям жрецов, теперь он создает ее на началах разума и свободы. Злые химеры и призраки средневековья, устрашавшие человечество, исчезают, и новый, свободный человек поднимается из праха земли, и перед его взором, горящим мыслью, бегут колдуны, жрецы, «помазанники» и ведьмы...

Он обратился прежде всего к самой интересной для него науке, науке о Боге, к богословию и теологии, для которых основал кафедры в университетах. Там потребовалось прежде всего отречение от здравого смысла, от логики, от математики,

там договорились до невозможного. Но все учение о тунеядстве, о чудесах, наивные истории о сотворении мира, все это отвергнуто ныне наукой. Наивное учение о происхождении человека— все это было так далеко от науки, что рассудочному уму человека показалось прямо кощунственным по отношению к Богу-слову и Богу-разуму. В этих обрядах, ведущих свое начало из глубокой древности (ассиро-вавилонской, египетской), в этих таинственных символах и жертвах, в изображениях, сияющих золотом и самоцветными камнями, в ризах и мерцающих свечах, в фимиаме храма,—человек увидел только одно—желание затемнить и угасить ясный рассудок.

Отвернувшись от этой псевдо-науки, человек обратился к науке о жизни, о правах человека на жизнь. Прежде всего его возмутила бессмысленная жестокость войн, этого истинного поругания лика Божия в человеке. Он постиг все хитрые тонкости международного права и роль тех почтенных пожилых людей, которые писали любезно-предательские и коварно-вежливые дипломатические ноты на первосортной бумаге. Он понял, что в результате этой элегантно-мошеннической работы то и дело вспыхивали побоища между самыми образованными нациями. Деятели международного права утешали человека тем, что их наука регулирует кровавую бойню. Да? с горьким чувством думал человек, все урегулировано в здешнем мире, даже смертная казнь—и та совершается по известным инструкциям. Его ум мучился при мысли о существовании узаконенного и точно разработанного элегантного палачества. И в скорбные ночи ему рисовалась иная наука, наука о правах человека. На снежно-белых листах этой новой, иной книги-науки напечатано было золотыми словами: «любите друг друга, добро творите ненавидящим вас».

А на утро хотелось ему пойти разорвать толстые, умные книги международного права и крикнуть людям, сцепившимся друг с другом в смертной свалке вражды: «Остановитесь, дорогие, любимые братья.... Кто ослепил вас, кто кинул вас, как безумных, в кровавую битву?.. Неужели не чувствуете вы, бедные дети земли, что вы все родные братья, что вы должны соединиться в единую любящую семью на тот краткий миг свидания, который зовется ЖИЗНЬ. Любите друг друга, любите в это

7*

единое и краткое свидание. Больше никогда, никогда не увидитесь: поэтому обнимите друг друга, как братья, перед вечной и скорой разлукой. Это одно имеет смысл и значение"...

Но если война—печальное, неизбежное испытание, зато, наверное, наука обеспечивает возможность лучшей жизни человека. Л. Толстой обратился поэтому к науке гражданского права и встретил прежде всего, как аксиому, как догму, тщательно разработанное, до самых мельчайщих, казалось бы никогда в жизни не могущих встретиться мелочей—учение о священном праве собственности И тотчас же перед его умственным взором встала картина. На тихо звенящем поезде, в роскоши, в мягком качающемся вагоне—катит на берега благодатной Ривьеры сиятельный князь, владелец многих и многих десятин плодородной земли. Там, в роскошном отеле, окруженном пальмовым садом, уже ожидают его сиятельство по телеграфу заказанные апартаменты, из окон которых виднеется темная синь Средиземного моря. Там в золоте, кружевах и в чулках, разрисованных лучшими художниками,—ждут не дождутся его сиятельства—звезды первой величины. Там после изысканного, приготовленного поварами-маэстро обеда, скушанного под утонченную музыку, на дивной террасе, протянувшись на лонг-шезе, куря благовонную гаванну, отдыхает его сиятельство—кейфуя и болтая милые пустяки и глядя, как солнце спускается в синий туман стихшего к вечеру моря.

Рядом вставал перед ним другой образ—тоже образ и подобие Божие—лохматый и грязный, грубый и пьяный, не знающий языка человеческого и говорящий какими-то странными, звериными звуками—вечно голодающий «мужик», у которого не только лицо было глупо и искажено непосильным трудом извечного под'яремного раба, но была искажена и душа, отравленная спиртом, испуганная вечным страхом нужды, жестоких наказаний, воспитанная на рабских началах, лишенная малейших искр знания, данного великими учителями человечества—душа, в самом Боге видящая лишь большого жандарма—конечную жестокую расправу, от которой так трудно уйти путем грошевых свечей. Когда этот звероподобный человек, обезумев от горя, грязи и водки, огрызнулся, как затравленный волк, и

показал зубы, его усмирили быстро и решительно во славу того же кумира, сластены-собственника.

И вот представился Толстому обширный и ужасный храм, в котором на страшном престоле, залитом человеческой кровью, сидел бог-ваал, чудовище, требующее бесчисленных жертв, и жертвы эти шли бессчетно, чредою, покорные и обессиленные суеверием и страхом. А вокруг престола Ваала стояли жрецы в ученых мантиях и торжественно и непререкаемо читали толстую книгу гражданского права, где на первой странице было начертано: священная частная собственность есть основа современного культурного государства.

Он отказался от них, изучающих богословские и «гуманитарные» (какая злая насмешка!) науки и обратился к другим ученым, постигающим мироздание. Он думал: «Мир вышел из рук Творца таким величественным, бесконечным во времени и пространстве, таким изумительно точным. что каждый человек, глядя на него, чувствует как бы биение нескончаемого, жизнелюбящего разума». И он обратился с вопросом к астрономам и геологам, что думают они о создании и строении мира. Они ответили ему очень интересной теорией Лапласа. И он спросил их: «Если механика говорит, что ни одно движение не может начаться без причины, то совершенно логично заключить, что причина всех движений должна быть вне мира, или должна быть некая первопричина». И в ответ на это услышал от деятелей науки: «Мы не изучаем первопричины, это дело метафизики и религиозных мыслителей». Только наиболее скромные говорили: «Это непостижимо, мы ничего об этом не знаем, мы не признаем и не отвергаем ничего».

Он продолжал их спрашивать: «В настоящее время точными приборами насчитано уже 4 миллиарда солнц, и никто не сомневается, что существуют еще и еще такие же бесконечные миллиарды солнц. Скажите же мне, что это—высший смысл или величайшая бессмыслица? Если вы согласитесь со мною, что высший смысл, то нам не о чем дальше спорить—это и есть тот Бог, тот Разум, к которому стремится любящий дух человека. Если же вы ответите мне, что это величайшая бессмыслица, и я соглашусь с вами, что нет Бога. но никогда не пойму, зачем изучать неизмеримую бессмыслицу. и никогда не пойму, как

мог среди этой бессмыслицы появиться мой или ваш разум». Ему отвечали—одни незнанием, другие-указанием опять на метафизику и религию, третьи отвечали, что не интересуются и не занимаются такими вопросами. И все эти «просвещенные люди» показались ему еще менее просвещенными людьми, чем дикари, решающие вопросы о Боге по-своему, и темные женщины с грошевыми свечками и чудотворными иконами.

Ему показалось, что жрецы богов и жрецы науки, сознательно или бессознательно, совершили ужасные подмены: одни подменили учение любви колдовством, другие подменили великий вопрос — множеством ничтожных вопросиков, но те и другие строили свою земную жизнь в смысле доходов, почестей и власти над людьми.

Ему показалось, что люди, занимающиеся изучением мертвой природы, могли бы не заметить Бога, живущего во всех живых созданиих, в этих малых храмах, но как могли люди, изучающие живую природу, не понять, что человек—это прекрасный храм, полный святости, любви и разума, что тля и лягушка—тоже храмики.

Естествоиспытатели на вопрос его о человеке, о смысле и значении его жизни ответили ему прославленной эволюционной теорией. «Значит, спросил он в изумлении, человек—это усовершенствованная, самая смышленая обзьяна и ничего больше?».... «А что же вы хотите большего»? спрашивали, улыбаясь, гордые обладатели непотрясаемой истины.—Мне казалось, отвечал им Толстой, что в душе человека живет ясное сознание разумности своего существования, и что это разумное сознание не может быть понимаемо иначе, как связь с бесконечным началом.

И все эти естествоиспытатели вызвали в душе Толстого такую же глубокую скорбь, как всякие люди, имеющие несчастие подменять самое важное бесчисленным множеством самого ненужного. И он обрушился тогда на все эти исследования о протоплазме, о кровяных шариках и назвал ученых самыми непросвещенными и невежественными людьми.

Толстой пришел в мир в эпоху величайшего развития материальной культуры и капиталистического строя. К этому строю приспособилась, вне всякого сомнения, и наука, признавшая за неопровержимые, априорные истины или даже аксиомы—совер-

шенно спорные и ничем недоказанные посылки, в роде института собственности, воинской повинности и т. п.

В теоретической науке господствовал самый грубый материализм, превративший в неподвижную догму все деспотические обычаи, создавший религиозную нетерпимость и грозивший тюрьмой и эшафотом каждому, кто пытался противиться его силе.

Л. Толстой направил все свои усилия к тому, чтобы нашу современную «религию» сделать более «научной» (если можно так условно выразиться), а нашу науку сделать «религиознее».

Подобно древнему Самсону, он ворвался в храм нынешних богов и, найдя нашу религию противонаучной, со страшной силой потряс старые колонны храма, который и рушился среди ужасающего шума осколков и пыли.

Толстой ворвался и в храм науки и нашел его мертвым, безбожным, бесчеловечным, бездушным и рабским и с силой поколебал колонны, и этот храм и все истуканы, стоявшие в нем, рухнули, и новый свет, свет любви к человечеству ворвался в это тысячелетнее здание.

Акад. *А. В. Старков.*

Толстой и Диккенс.

Интерес к Диккенсу, как к писателю, стал проявляться у Л. Толстого в самую раннюю пору его творческой работы.

К сожалению, у нас не осталось точных следов чтения Толстым Диккенса; мы не знаем, какие произведения Диккенса читал автор «Детства» в конце 40-х, начале 50-х годов, но можно увериждать, что уже в 1851 году он восхищался «Давидом Копперфильдом». Об этом свидетельствует его запись в дневнике от 2 сентября 1852 года. («Какая прелесть Давид Копперфильд»). Можно предполагать, что сперва этот роман он прочел в переводе Ир. Введенского, который появился в «Отечественных Записках» за 1851 г., так как лишь в 1853 году, желая, очевидно, перечесть роман Диккенса в подлиннике, он просит брата своего С. Н. Толстого (в письме в декабре м.): «Купи мне Диккенса (Давид Копперфильд) на английском языке и лексикон английский Садлера, который есть в моих книгах».

Можно думать, что подлинный Диккенс давался Л. Толстому в то время нелегко, так как Л. Н. знал тогда английский язык далеко не совершенно. В 1905 году Л. Толстой как-то в разговоре со своими яснополянскими друзьями вспомнил о том «влиянии», какое имел на него Диккенс в молодые годы писательской деятельности. Он оговорился, что все-таки никто другой, как Стендаль, имел на него «главное влияние», а за Стендалем следует Диккенс. Когда Лев Толстой путешествовал второй раз по Европе и очутился в Англии, в Лондоне, то он хотя и «не посмел» быть лично у Диккенса, но все же видел его в одной из Лондонских аудиторий. «Видел Диккенса в большой зале, он читал о воспитании. Я тогда разговорный английский язык плохо понимал, знал его только теоретически». Л. Толстой выразил удивление, вспомнив, как Тургенев поверил одному критику, назвавшему Диккенса «деланным, манерным».—

«Тургенев дал себя обмануть. Диккенс—гений, которые родятся раз в сто лет, а критик его давно забыт»[1]).

О своем увлечении Диккенсом, которое не прекращалось и до самой смерти, разговорился как-то Л. Толстой с писателем С. Я. Елпатьевским (еще в Крыму). Последний сказал, что на него Диккенс вместе с другими писателями имел большое влияние.

«И на вас тоже Диккенс?—живо подхватил Л. Н.—Вы по-русски читали? По английски это несравненно лучше выходит... На меня он имел большое влияние[2]), любимый был писатель. Я его несколько раз перечитывал. А Вы?»

— Я только что перед тем перечитал — не помню уже, в который раз—«Записки Пиквикского Клуба» и сообщил об этом ему. Л. Н. пришел в приятное расположение духа, он подвернул ногу под себя и принял свою любимую позу.

«Ну, а кто Вам там больше всех нравится?»

Я ответил, что самый очеровательный джентльмен — сам мистер Пиквик.

«Конечно, конечно.... Ну, а еще кто из второстепенных?»

Я так люблю всех и второстепенных лиц в «Записках Пиквикского Клуба», что затруднился и назвал мистера Уэллера.

«Младший? А мне больше нравится старший Уэллер — отец. Помните...—

Он полез в карман, казалось, бездонный, и уморительно долго с насупленным лицом запускал в него свою руку и говорил:

— Помните, сначала вытащил веревочку, ремешки и потом уже деньги....»

Я и не ожидал, что Л. Н. может так громко, так весело и заразительно хохотать.

Мы вспомнили поездку пиквистов в дилижансе с легкомысленным Бобом Сойером. Л. Н. с особенной любовью вспомнил Рождество в деревне у достопочтенного эсквайра, милую сцену в кухне, — и счастливый и довольный вскочил со стула[3]).

---

[1]) Д. П. Маковицкий. «Яснополянские записки , вып. 2, стр. 34.

[2]) Ср. П. Бирюков. Биография Л. Толстого, т. I, стр. 141, изд. „Посредника".

[3]) С. Я. Елпатьевский. «Литературные воспоминания», стр. 30.

Вообще говоря, Диккенс со всем своим литературным наследием, со всеми своими сюжетами и настроениями был популярным автором в Яснополянском уголке Л. Толстого.

Портрет его всегда висел (и теперь, конечно, висит) в верхнем этаже Яснополянского дома, и на него все, начиная от родных Л. Н. и кончая его старым слугою Ильей Васильевичем, смотрят, как на «любимого писателя». «История двух городов», «Колокола», «Записки Пиквикского Клуба» и проч. — все это читано и перечитано постоянными и даже когда-либо гостившими обитателями дома Л. Толстого[1]).

И сам Л. Н. чрезвычайно любил иногда «угощать» своих посетителей Диккенсом. Он от всей души хохотал, не раз пересказывая «Записки Пиквикского Клуба» или какие-либо другие произведения Диккенса[3]). С большим юмором и мастерством он копировал героев «Мэдфогских Записок», вспоминая ту процессию, для которой пьяницу Туигера, отличавшегося «упорной привязанностью к крепким напиткам и пиву», переодевали в рыцаря, наряжая его в латные доспехи гигантских размеров и т. д.

В своей повседневности Л. Толстой непрерывно обращается к Диккенсу, в течение всей своей жизни, то ссылаясь на него, как на литературный образец, то рекомендуя его для чтения, то просто восторгаясь им. Как-то, Д. П. Маковицкий зашел к нему, когда он был болен, и увидел, что Лев Николаевич читал «Лавку древностей» Диккенса[2]).

В разговорах с самыми разнообразными людьми Л. Толстой то советует прочесть «Историю Англии для детей» Диккенса[4]), то рассказывает содержание только-что прочитанного им рассказа этого писателя, то читает его вслух[5]), называет его

[1]) Лучшей обрабатывательницей Диккенса для народного чтения была (заметим кстати) племянница Л. Толстого В. С. Толстая (дочь брата Л. Н.—Сергея Н-ча).

Между прочим, С. А. Толстая вспоминает в своей «Автобиографии»: «Самое большое впечатление произвело на меня в моей юности «Детство» Толстого и «Давид Копперфильд Диккенса («Начала», 1921, стр. 142).

[2]) По рассказам И. И. Горбунова-Посадова.

[3]) Д. Маковицкий, Яснополянские записки . в. 1. стр. 74.

[4]) Там же, стр. 86.

[5]) Те же «Записки» в. II, 69 и 73.

неоднократно «мировым гением»[1]), «настоящим учителем литературного языка» [2]) и т. д. В ноябре 1898 г. он сообщает С. А. Толстой, что читает Диккенса, а 5 ноября 1892 г. просит ее: вели прислать Диккенса Martin Chadzlwit [3]), и т. д.

При возникновении издательства «Посредник» Толстой был озабочен подыскиванием материала для этого издательства, и первое, что приходит ему в голову — это Диккенс, которого он рекомендует для переделок для народного чтения. В письмах к В. Г. Черткову он настоятельно советует приняться за «всего Диккенса. В нем найдется много прекрасного, — его маленькие рассказы и романы» [4]), он припоминает «Эдвина Друда», «Оливера Твиста» [5]) и др., а 22 февр. 1886 г. в письме признается: «Диккенс все больше и больше занимает меня. Орлова я просил передать историю о двух городах. Озмидова буду просить «Крошку Доррит». «Общий друг» прелестно. Надо только как можно смелее обращаться с подлинником: ставить выше Божью правду, чем авторитет писателя. Я бы взялся за «Нашего общего друга», да хочется делать другое. А хорошо бы, если бы кто-нибудь из нас сделал это» [6]).

В другой раз, вспомнив о «Холодном доме» и «Крошке Доррит», Л. Толстой советует использовать их для издания, каковое сделать «с комментариями непонятного и с исключением того, на что укажет опыт чтения рукописи в школах для взрослых. Стоит того попытать это и именно на Диккенсе передать всю тонкость иронии и чувства—выучить понимать оттенки: для этого нет лучше Диккенса» [7]).

В письме к нам С. А. Толстая сообщила, между прочим, следующее: «Увлекался ли Лев Николаевич Диккенсом? Даже очень и всегда. «Давида Копперфильда» он высоко ценил, также и о других произведениях Диккенса отзывался всегда с похва-

[1]) Те же «Записки», вып. I, стр. 99.

[2]) А. Ф. Кони. «На жизненном пути», т. 2, стр. 29 (Статья Л. Н. Толстой).

[3]) Письма Л. Н. Толстого к жене, стр. 430 и 560.

[4]) Письма Л. Н. Толстого к В. Г. Черткову и П. Бирюкову о Посреднике. СПБ. 1914, стр. 19.

[5]) Там же, стр. 18.

[6]) Там же, стр. 34-35.

[7]) Там же, стр. 106.

лой. Теккерея он читал также охотно, но о Тепфере отзывов я от Л. Н-ча никогда не слыхала».

Но в самой определенной форме Л. Толстой выразил свое отношение к Диккенсу, как художнику, в своем исследовании «Что такое искусство?» Как на образцы «высшего» искусства, Л. Толстой, в числе очень немногих других, указал на «Колокола» и «Историю двух городов» и отчасти (как на образцы лучших произведений «высших классов») на «Давида Копперфильда» и «Пиквикский Клуб» Диккенса [1]).

Все эти указания, находимые нами в личных письмах Л. Толстого и в мемуарной литературе о нем, говорят нам о несомненном и неубывавшем интересе Л. Толстого к Диккенсу, обусловленном высоким мнением нашего писателя об английском романисте.

Но ко всему только что сказанному надо прибавить, что это как будто чисто внешнее «сходство» между страницами Диккенса и Толстого было, несомненно, обусловлено и серьезными «внутренними» причинами.—Мелкая зыбь на поверхности воды бывает также признаком глубокого волнения на дне.

Л. Толстой сочувственно относился к тем широко-гуманитарным планам, какие нес в жизнь Диккенс. Автор «Домби и сына» волновал Л. Толстого не только как писателя - своей художественно-идиллической прозой,—он затрагивал и Л. Толстого-мыслителя—своими нравственно-образовательными и общественно-сатирическими мотивами.

Впоследствии, в очерках «Так что же нам делать?» (1884—86), Л. Толстой с вдохновенным волнением утверждал, что «самоотвержение и страдание будут уделом мыслителя и художника, потому что цель его есть благо людей. Люди несчастны: страдают, гибнут. Ждать и прохлаждаться некогда»... «Гладких, жуирующих и самодовольных мыслителей и художников не бывает». И Диккенс представлялся Л. Толстому, конечно, типом такого именно писателя, который своим творчеством способствует установлению блага людей. Этим и определяется внутренняя родственность и об'единенность Диккенса и Л. Толстого.

---

[1]) «Что такое искусство?», гл. 16.

Расцвет деятельности Диккенса совпал с «утренними сумерками» творчества Л. Толстого и, как неоднократно сознается последний, оказал какое-то «влияние» на него, так что выходит, будто Л. Толстой не только интересовался Диккенсом, но и был чем-то обязан ему, как своему вдохновителю. В какой мере это так, интересно выяснить.

Переводная литература в России 40-х и 50-х г.г., наводнившая собою все толстые журналы того времени, кормилась главным образом приготовлениями английских и французских мастеров, конкурировавших в своей беллетристической изобретательности. Но с особой силой теснил и подавлял—и об'емом своих романов, и общей их значительностью—Чарльз Диккенс, завоевавший, вслед за Бульвером, и свою «русскую популярность», которая по своим размерам приближалась уже к английской и американской.

Журналистика рассматриваемых годов не поспевала вмещать на своих страницах весь тот сложный и соблазнительный для читателей материал, который мог предложить один Ч. Диккенс, не считая таких «непременных» писателей, как Евг. Сю, Ж. Занд и друг.

Начиная с «Записок Пиквикского Клуба» и «Оливера Твиста» и кончая «Давидом Коперфильдом», «Холодным Домом» и «Большими Надеждами» – ничто не было пропущено зоркими русскими переводчиками эпохи Белинского, А. Григорьева и Дружинина.

Захватывающий интерес к Диккенсу особенно проявляется в русском читающем обществе с 40-х—50-х годов. Наряду с «Базаром житейской суеты» Теккерея, «Наследством» Тепфера и «Семейством Кекстонов» Бульвера,—в «Отечественных Записках» за 1850 г. появляются «Замогильные записки Пиквикского клуба» [1]), а в следующем году тот же журнал печатает «Давида Копперфильда» [2]), которого одновременно преподносят своим читателям «Москвитянин» и «Современник», и это служит

[1]) Хотя вообще Диккенс стал печататься в России значительно ранее. «Оливер Твист», напр., был издан отдельной книгой еще в 1841 г. (См. Э. Радлов. «Диккенс в русской критике». «Начала», 1922, № 2. Стр. 124).

[2]) Так же, как и «Записки», в переводе Ир. Введенского.

более чем достаточным свидетельством популярности Ч. Диккенса в среде русских читателей.

Но популярность Диккенса находила свое полное обоснование и в русских «критикующих кругах».

Белинский и Дружинин, эти главные в ту пору ответчики перед читающей публикой за все литературные происшествия в России, несмотря на естественную трудность во-время определять действительно ценные произведения (так как всех «романов» в разные редакции поступала целая тьма) -- все же с большой чуткостью оттенили творчество Диккенса.

Сперва сдержанный (при появлении «Оливера Твиста» и «Бэрнеби Роджа»), Белинский после выхода в свет «Приключений Мартина Чадзльвита» называет в своем обзоре литературы за 1844 г. Ч. Диккенса «даровитым», а в 1847 г. говорит о его романах, что они «глубоко проникнуты задушевными симпатиями нашего времени», что они «превосходные художественные произведения» и т. д. [1]).

В своем «Письме иногороднего подписчика» за февраль 1849 г. А. Дружинин, сравнивая детские образы, созданные Ч. Диккенсом, с «Неточкой Незвановой» Ф. Достоевского и ставя вопрос о «подражании» русского начинавшего тогда романиста Диккенсу, заявил, что «подражать ему не стыдно», что «Диккенс—великий художник» [2]).

После же появления «Давида Копперфильда» А. Дружинин подробно и глубоко резюмировал свое преклонение перед «Диккенсом: «Неотразимая и благородная сила автора «Сверчка» и «Копперфильда» заключается не в неистощимом юморе, как думают многие, не в его умении провести современную мысль по всему произведению, даже не в увлекательном изложении его сочинений, даже не в его симпатичности к человеческим бедам и горю. Последнее заключение было бы справедливо, если бы не заключало в себе односторонности. Диккенс, действительно, гуманен, как говорили в старину, но эта гуманность не есть узкая, исключительная гуманность, переходящая в грустную иронию. Сила Диккенса заключается в его душе, которая умеет любить

[1]) В. Белинский. Взгляд на русскую литературу за 1847 г. (в собрании соч.).

[2]) Сочинения А. Дружинина, т. VI, стр. 64.

так, как любят души, отмеченные провидением и предназначенные для того, чтобы разливать вокруг себя «счастье, веселье и добрые помыслы» (в этом смысле, прибавим мы, Диккенс и Л. Толстой, как исторические личности, повторяют друг друга). И далее: «Все мы люди кружка, хотя многие смеются над кружками. Мы не хотим знать человеческого семейства во всем его высоком многообразии, мы лезем к тем, кто нас лучше, умнее и богаче, не желая знать людей очень юных, очень забавных или очень мелких. Для Диккенса же существует один кружок: все люди и предметы, любимые людьми. Зато как он неистощим и разнообразен»... [1]).

Лично прошедший длинную и тяжелую «школу жизни», Ч. Диккенс еще с эпохи своего детства и юности, живя в атмосфере Чатамских доков и Лондонских кварталов, воспитал в себе полногранное чувство любви ко всему живому, и это чувство получило свое углубленное значение и, так сказать, свою «литературную обработку» в самом Диккенсе – благодаря вдумчивому чтению им сочинений Смоллета, Фильдинга, Сервантеса («Дон Кихот»), Гольдсмита («Векфильдский священник»), Де-Фо («Робинзон Крузо»), Лесажа, арабских сказок и т. д.

Чуткое отношение к семейной нужде и ко всяким социально несправедливым явлениям жизни обусловило и определило у автора «Домби и сына» идейно-общественное направление всего его творческого пути. И не раз в жизни ему пришлось оказывать воздействие на устранение тех или иных общественных недостатков Британского королевства (англичане справедливо утверждают, что благодаря перу Диккенса уничтожена долговая тюрьма в Лондоне, в которой сидел Д. Диккенс, отец писателя, и которая описана в «Крошке Доррит» и «Давиде Копперфильде»; благодаря тому же доброму перу значительно видоизменилась жестокая Иоркширская «педагогика», живо отразившаяся в «Николае Никкльби» и т. д.).

Историки творчества Ч. Диккенса, на основании изучения биографических материалов писателя, показали, что большое по об'ему духовное наследство Ч. Диккенса, несмотря на весь

[1]) Сочинения А. Дружинина, т. VI, стр. 478 и 479.

его общественный смысл, таит в себе тонко воспроизведенные личные переживания автора, и многие романы Диккенса представляют собой довольно прозрачные картины из жизни их творца. Но «автобиографичность» произведений Диккенса (как это сказывается и на примере Л. Толстого) крайне условна и стоит далеко за пределами простого копирования с житейских оригиналов; она в высшей степени замутнена художественными деталями и поэтическими вымыслами самого автора, так что в большинстве случаев «автобиографичным» остается лишь общий колорит каких-либо эпизодов из частной жизни Диккенса, которые он вспоминал, как «человек» и запечатлевал, как «романист».

Можно отметить, таким образом, что воспоминания детства и юности нашли свое живописное отражение в «Оливере Твисте», «Давиде Копперфильде», «Крошке Доррит» и «Больших надеждах», и многие факты, лично наблюденные Диккенсом, в особенном изобилии вошли в «Лавку Древностей», в «Домби и сын», в «Пиквикский Клуб» и др. его романы.

За 35-тилетний период литературной деятельности Диккенса (родился 7 февраля 1812 г., умер 9 июня 1870 г.) из-под его пера вышли произведения, которым суждено было долгое время будить дремлющую человеческую совесть. И в «Домби и сыне», и в «Давиде Копперфильде», и в «Тяжелых временах», и в «Холодном доме», и в «Крошке Доррит» мы находим те же мотивы и ту же невозможность для писателя, обладавшего крупнейшим творческим дарованием, воспроизводить природу страстей с артистической целью, относиться к психологии человека, к его общественной и частной жизни с интересом и беспристрастием естествоиспытателя—затем, чтобы их превращать в произведения прекрасного [1]).

И, оценивая высоту творческих исканий Диккенса, приходится отнести его писательский образ к числу тех избранников, которые смотрят на «свое» искусство исключительно сквозь призму общественно-этического его значения: в этом отношении нетрудно провести параллель между Л. Толстым и Ч. Диккенсом.

---

[1]) П. Боборыкин: «Роман на западе». Стр. 517-518.

«Начальной целью» литературных работ Диккенса часто бывало (волею судьбы) получение гонорара от назойливых издателей, которым непрактичный романист авансом «распродавал» себя, попадая всякий раз в «невыгодные сделки»,—но «конечной целью» творчества Диккенса всегда служило идейное воздействие на общество, создание произведения, которое имело бы морализующее и интелектуирующее влияние на неисчислимых читателей, а такая цель быстро достигалась уменьем автора сгустить всю жижицу жизни и увлечь читателя своим любовным отношением к людям, к природе, к человеческому страданию, которое часто граничит у него с идиллией и даже юмором. Этот последний, столь свойственный и Л. Толстому, по капельке струится из каждой строки Диккенса, будь то роман или его многочисленные письма; но его смешливый тон несомненно коренится в его грусти, его таящаяся радость заключена в его неутолимой печали (как и у автора «Детства»). «Мы знаем, что он шутит, что он всегда шутит, что он шутил накануне смерти,—но сколько горечи в его шутке» [1]).

Среди обилия романов Ч. Диккенса — «Давид Копперфильд» нас интересует сейчас в особой степени, так как он сыграл известную роль в развитии литературной деятельности Л. Толстого.

Этот роман справедливо считается самым популярным романом Диккенса среди всей читающей массы Старого и Нового света. «Давид Копперфильд», писавшийся в течение 1849 и 1850 гг. и выходивший отдельными частями, наиболее «автобиографичный» среди прочих творений Диккенса; он блестит своей внешней художественной нарядностью и, наконец, отличается исключительной внутренней теплотой и грациозностью, с какими автор воссоздал историю детской души [2]).

Установить с помощью «наглядных фактов» непосредственную «зависимость» Л. Толстого от творчества Диккенса (как и от некоторых других авторов) представляется нам задачей невыполнимой, по той простой причине, что такие факты совер-

---

[1]) А. Н. Плещеев. «Жизнь Диккенса», стр. 209.

[2]) «Мемуары» автобиографического характера, писавшиеся Диккенсом перед началом «Давида Копперфильда», сообщены в «Жизни Диккенса» А. Плещеева, стр. 12 и след.

шенно отсутствуют. Нет данных утверждать существование определенного и строгого «влияния» Диккенса или Тепфера или Стерна или Стендаля на Толстого в том смысле, как это можно установить, напр., рассматривая юношеские труды Лермонтова и соответствующие произведения Пушкина, служившие первому непосредственным источником, утолявшим его творческую жажду.

Не говоря уже о том, что и самый термин «влияние» не обладает твердым и постоянным содержанием [1]), а составляет до сих пор одну из загадок в психологии творчества, но в нашем случае сопоставления Толстого и Диккенса можно было бы применить исключительно термин «сродство» (литературных излюбленностей, творческих настроений и мотивов вдохновения) между одним и другим автором, то сродство, какое можно наблюдать между Пушкиным и Шатобрианом, между Лермонтовым и Байроном и т. д.

Это «сродство» надо, конечно, разуметь в том смысле, что Л. Толстой, на первых порах своей художественной работы, искал каких-то «учителей» и литературных воспитателей, которые могли бы глубже других отозваться на его писательскую настроенность и наиболее полно ответить (в отношении содержания и формы) на темы, зревшие в нем самом, как в авторе, вынашивавшем уже определенные образы и сюжеты. И Л. Толстой всегда подтверждал такого рода связь между ним и многими образцами мировой литературы в период 50-х гг. и в разговорах с своими друзьями (В. Чертков, А. Кони и др.), часто ссылался на Стендаля, Диккенса и др. писателей и мыслителей [2]).

Конечно, такое «сродство» Л. Толстого и Диккенса можно и должно обнаружить и в содержании и в форме обоих авторов: «этика» их сюжетов, несомненно, органически связана с «поэтикой» их форм.

---

[1]) Несмотря на глубокие попытки С. Венгерова, Д. Овсянико-Куликовского, П. Сакулина и др. установить и формулировать значение этого понятия.

[2]) А в «Введении» к «Воспоминаниям детства» он даже определенно указал на Стерна («Sentimental Journey») и Тепфера («Bibliotèque de mon oncle»), как на авторов, сильно подействовавших на него, так как он был тогда «не самостоятелен в формах выражения».

Л. Толстой, продолжая традицию семейно-реалистической прозы, следует за Диккенсом и другими авторами, к которым можно возвести традиции самого Диккенса. Он строит свой рассказ на детальных описаниях, чередующихся с «лирикой» героев и автора, с чисто нравственно-образовательными сентенциями в духе сентиментальной школы. При этом он вырабатывает свою литературную пряжу неторопливо, с долгими раздумываниями, стараясь оттенить и раскрасить каждое мелкое наблюдение, уточнить каждую эмоцию героев, придать эпическим и лирическим частям своего повествования строго конкретизированные и «безошибочные» формы. Облекая все эти черты своих писательских настроений и воспоминаний в такой многословный и многообразный вид, Л. Толстой, как и автор «Давида Копперфильда», старается свои строки слегка заволокнуть дымкой какого-то вневременного сна, точно все описания его, диалоги, авторские «отступления» и обобщенные тенденции, так прихотливо и строго, казалось бы, классифицированные (в манере Стерна), — все это передается тотчас после некоего вдохновенного забытья, такого ясного и чарующего.

Поэтика Л. Толстого, менее других сторон его творчества изученная, дала бы, при внимательном ее рассмотрении (представляющем особую задачу), обширный материал для суждения о степени зависимости Л. Толстого от его предтеч на Западе, в частности Диккенса, Стерна, Тепфера, Руссо, Гольдсмита, Бернарден де сен-Пьера и т. д. [1]).

Первое произведение Л. Толстого (из числа опубликованных, конечно) — «Детство» и следовавшие за ним «Отрочество» и «Юность» носят на себе следы какого-то полувидимого «влияния» на Л. Толстого Диккенса вообще и его автобиографического романа «Давид Копперфильд» в частности.

Достаточно одного прочтения этих произведений, чтобы найти в них какой-то общий *тон*, определенное сходство в этой незатейливой грациозности медленного, слегка юморизиро-

[1]) Наблюдения над стилем Л. Толстого, начавшиеся со времени П. Анненкова, а после К. Леонтьева, в последние годы дополнены удачными попытками Б. Эйхенбаума (в его работе „Молодой Толстой", СПБ. 1922).

ванного повествования жизни Деви — с одной стороны и жизни Николеньки—с другой.

Обстановка нежной женской заботливости, окружающей обоих героев повестей Л. Толстого и Диккенса, ребяческие самолюбивые капризы и действительные огорчения, нарушающие патриархальное течение их жизни, — все это, помимо чисто внешней стилистической стороны, роднит оба произведения. Наконец, отдельные сцены, чувства и мимолетные эпизоды и настроения Деви и Николеньки напрашиваются на невольное сопоставление.

Герой Диккенса, находящийся весь во власти воспоминаний о своей матери и всей вообще обстановке детства, перебирает в памяти мельчайшие предметы житейского обихода, запечатлевшиеся в его молодом уме. Нижний и верхний этажи дома, задний двор с птицами, длинный корридор (эта «необ'ятная перспектива в моих глазах»), в конце которого была кладовая с бесчисленными склянками, кружками, старыми чайницами с запахами мыла, перца, кофе и свечей [1]),—все это также вместилось в сознание Деви, как и халат, шапочка и кисточка Карла Ивановича, как его часы с егерем, табакерка и щипцы, как голубой сундук с «тысячами предметов» Натальи Савишны — в сознании Николеньки у Л. Толстого.

Маленький Деви вспоминает о кладбище, о фамильной скамье в церкви, о последних покойниках прихода и о докторах, их лечивших. Грезы одолевают его. От доктора «взор мой машинально обращается на кафедру и на разные другие предметы... Глаза мои смыкаются постепенно, смутные звуки не доходят больше до моих ушей. Минута или две, и я с шумом падаю со скамейки, и Пеготти относит меня домой полумертвого». Читая историю о крокодилах и гремучих змеях, Деви, уже утомленный, сидя перед Пеготти, рисковал не раз уснуть крепким детским сном, но он «скорее был готов умереть на своем посту, чем уйти в спальню и лечь в постель». «Сон одолевал меня, и мало по малу я дошел до той степени неопределенного состояния, что Пеготти начала вздыматься, пухнуть и принимать в моих глазах колоссальные размеры [2]).

[1]) «Давид Копперфильд» в пер. Ир. Введенского, начало II главы.

[2]) Там же, гл. II.

Эти дремотные состояния мальчика также составляют значительную страницу в повести Л. Толстого. Николенька, набегавшись досыта, засыпает под говор maman. «Отуманенными дремотой глазами я пристально смотрю на ее лицо, и вдруг она сделалась для меня маленькая-маленькая, лицо ее не больше пуговки».—«Ты опять заснешь, Николенька, говорит мне maman, ты бы лучше шел наверх.—Я не хочу спать, мамаша,—отвечаешь ей, и неясные, но сладкие детские грезы наполняют воображение, здоровый детский сон смыкает веки, и через минуту забудешься и спишь до тех пор, пока не разбудят [1]).

Дело кончается тем, что maman вновь будит Николеньку и уносит его в спальню, где тот засыпает, заплакав от радости и любви к maman.

В трогательных красках вспоминают Деви и Николенька момент от‘езда их из детского уюта с матерями [2]).

Они, уезжая, следят до последних минут за тем местом, где происходила сцена прощанья и усаживания в экипажах, и как Деви пристально замечает матушку, продолжавшую стоять на дороге, так и Николенька видит свою maman стоящей на крыльце и глядящей ему вслед (деталь мелкая, но характерная для обеих натур).

Отношения Николеньки к Сонечке [3]) в значительной степени напоминают то непосредственное детское чувство игривой любви, какое испытывает Деви к малютке Эмми [4]). С близкой друг к другу отчетливостью изображены в рассматриваемых произведениях муки самолюбия, какие терпят Николенька и Деви от телесного наказания. Когда м-р Мордстон ударил Деви, стиснув ему голову, мальчик схватил с отчаянной силой руку своего ненавистного насильника и впился в нее зубами, кусая. Когда его заперли, он остался «измученный, избитый, взволнованный, взбешенный, подернутый лихорадочной дрожью» [5]).

---

[1]) «Детство», гл. XV.

[2]) Ср. конец гл. II «Давида Копперфильда» и гл. XIV «Детства».

[3]) «Детство», гл. XXIII и XXIV.

[4]) «Давид Копперфильд», середина гл. III.

[5]) «Давид Копперфильд», конец гл. IV.

Он предается самым тяжелым мыслям о себе, как об «уголовном преступнике», и в ребенке кипят все чувства, начиная от сострадания и кончая ненавистью. Те же волнения, те же, казалось бы, безысходные муки испытывает и Николенька, после того, как St-Jérome хотел наказать его розгами. Он с наивной горячностью мечтает тоже сделаться «уголовным преступником» и убить своего насильника St-Jérome, которого ненавидит всем своим детским существом. И как Деви, так и Николенька приходит в состояние равновесия путем долгой борьбы над собой и черпая из окружающей обстановки утешающие его мотивы.

Состояние Деви при смерти матери и на ее похоронах чрезвычайно обще с теми страданиями, какие испытывает Николенька при похоронах maman. Пеготти рассказывает Деви о последних минутах жизни его матери, которая призывала «Божье благословение» на детей и страдальчески смотрела на старую Пеготти [1]). Наталья Савишна также передает Николеньке свои тяжелые воспоминания о последних минутах maman, о ее молитве к Богу за детей и о ее страшных физических страданиях [2]). Любопытны те чувства, какие скопились в душах Деви и Николеньки после похорон их матерей, когда они остались наедине с самими собой и стали приводить в порядок свои бессвязные мысли.

Деви после похорон и после скорбной повести Пеготти почувствовал, что «с этой самой минуты мысль о том, чем была для меня мать в последние месяцы своей жизни, совершенно исчезла из моей головы»....

«Мать, лежащая в могиле, есть мать моих младенческих лет. Маленькое создание в ее об‘ятиях это—я сам, успокоившийся в образе младенца на ее груди [3])».

Николеньке казалось после похорон матери, что «после такого несчастья все должно бы было измениться», но нет: «мы ложились и вставали в те же часы и в тех же комнатах;

---

[1]) «Давид Копперфильд», гл. IX.

[2]) «Детство», гл. XXVI.

[3]) «Давид Копперфильд», конец IX гл.

утрений, вечерний чай, обед, ужин—все было в обыкновенное время; столы, стулья стояли на тех же местах; ничего в доме и в нашем образе жизни не переменилось; только ее не было» и т. д. [1]).—С такой „обыкновенностью“ посмотрели герои Диккенса и Толстого на происшедшие в их личной жизни глубокие потрясения и перемены. Спокойный эпический тон и здесь ничем не нарушен был в ходе обоих рассказов.

Конечно, приведенные выше примеры сходства в настроениях, мыслях и чувствах главных героев повести Л. Толстого и романа Диккенса (их можно было бы еще значительно продолжить) являются в достаточной мере обыденными и житейско-постоянными, и в них трудно автору проявить какую-либо исключительную самостоятельность трактовки. Горе мальчика при смерти матери, чувства любви к матери, сознание одиночества, самолюбивые грезы детства при расставании с родным домом или состояния дремоты перед сном,—казалось бы, все это так знакомо нам и так «одинаково» должно бы переживаться у всех этих бесчисленных современных и будущих Копперфильдов и Иртеньевых, что не следовало бы и соблазняться подобными сопоставлениями (иначе, как описали Диккенс и Л. Толстой и быть не могло: где же тут аналогия?). И однако: не только колорит (нечто почти неуловимое), которым овеяны все выше перечисленные эпизоды детства и изгибы детской психологии—несомненно одного и того же порядка (по своему внешнему выражению в том и в другом произведении), но и черты поведения, даже некоторая группировка персонажей и подбор самих фактов, из которых слагаются целые главы и «Давида Копперфильда» и «Детства»,—во многом свидетельствуют о том, что Л. Толстой, полусознательно, может быть, для себя, «пил» из «Давида Копперфильда» (чтением которого он так увлекался), как из своего источника.

Конечно, Л. Толстой был более чем далек от копиизма. Его психологический анализ, вытекавший из его личных дарований и обусловленный, как мы теперь знаем, многими семейными и вообще житейскими фактами, послужившими для него сырым

---

[1]) «Детство», гл. XXVIII.

литературным материалом [1]), та разница в мышлении и глубина в «философствовании», какая отличает Николеньку от Деви,—слишком очевидны и определенны, чтобы заподозрить какую-либо грубую зависимость его от английского романиста.

Справедливо, что Диккенс занимал в истории литературных увлечений Л. Толстого в пору 50-х годов одно из самых первых мест. Но не надо вообще забывать, что автор «Давида» не был в то время единственной литературной симпатией нашего писателя. Л. Толстой, не оторвавшийся, конечно, от только что ушедших 20-30-х годов, находился под непосредственным обаянием и других писателей, популярных в среде русского читаю-

[1]) Как известно, живыми моделями для действующих лиц «Детства» послужили многие родные и близкие знакомые автора, с которых он взял некоторые черты характера своих героев. Приведем выдержку из письма к нам С. А. Толстой, выясняющую этот вопрос: «Все типы, описанные в Детстве, взяты из двух семей граф. Толстых и Александра Михайловича Исленьева, моего родного деда по матери. Его и описал Лев Николаевич под заглавием Папа» и «Что за человек был мой отец». Матери Лев Николаевич не помнил, ему не было 2-х лет, когда она умерла. Из семьи моего деда Исленьева, кроме его самого, описана еще гувернантка дочерей деда, в том числе и моей матери—шведка по мужу, мадам Копервейн. Она и воспитала мою мать и ее сестер. Прозвище ее было «Мими». При ней жила и ее дочь «Юзенька» (Жозефина), в Детстве» она названа «Катенькой». Еще описаны в «Юности» вторая жена деда «La belle Flamande»; первая незаконная жена деда умерла молодая. Она была дочь графа Завадовского, фаворита Екатерины II, замужем за кн. Козловским, которого она покинула, полюбив моего деда А. М. Исленьева. Учитель Карл Иванович, француз Saint-Jérome были при мальчиках Толстых, но Карл Иванович был Федор Иванович, а Saint-Jérome был Saint-Thomas, Наталья Савишна была у Толстых. «Володя» был брат Сергей, другие братья не описаны. «Любочка» — это описана сестра Льва Н-ча — Машенька. «Бабушка» это мать отца Льва Н-ча. «Князь Иван» — это кн. Горчаков, родственник бабушки, рожденной кн. Горчаковой. «Княгиня Корнакова» — с бесчисленными княжнами — это тоже родственница, княгиня Горчакова. «Сонечка» — это Сонечка Колошина, жившая впоследствии в Троице-Сергиевской лавре, никогда не вышедшая замуж. Она была первой любовью еще мальчика Льва Николаевича. Все лица в «Детстве, Отрочестве и Юности» взяты с натуры, но я не ясно помню, с кого они списывались. Приятели Льва Ник. в молодости были Д. А. Дьяков, Зыбин и другие. Все больше из русских помещиков и дворян. Думаю, что «Ивины» были Мусины-Пушкины» (Письмо от 5-18 марта 1918 г.).

щего общества того времени, как например, Стерн, Стендаль, Ж. Ж. Руссо, Гольдсмит, Бернарден-де-Сен-Пьер и проч.

Традиции семейного романа на сантиментальный лад были еще очень живучи в то время, когда Л. Толстой переживал свое литературное «детство», и, отмечая следы «влияния» Диккенса на «Детство» Л. Толстого, нельзя, конечно, не упомянуть и о том, что в период 51-52 г., т. е. в начале созидания своей неосуществленной тетралогии, Л. Толстой зачитывался всеми образцами такой реалистически-сантиментальной литературы. Он тщательно работает над сочинениями Руссо и пишет свои «Философические замечания на речи Руссо», он читает и переводит Стерна («Сантиментальное путешествие по Франции и Италии») и др. [1]).

И кроме отражений чтения Диккенса, в «Детстве, Отрочестве и Юности», конечно, можно заметить веяние только что указанных авторов. А самая манера писания и наблюдения над жизнью и героями—«из окна»—традиционно усваивается Л. Толстым, во-первых, от Стерна и, во-вторых, от Тепфера. Последний автор, вместе с Диккенсом, отразился в «Детстве» также своими творческими настроениями и мотивами.

«Библиотека моего дяди» Р. Тепфера, напечатанная в «Отечественных Записках» за 1848 года (том XI) в анонимном переводе, воспроизводит (от имени 1-го лица, т. е., как и в «Детстве» Л. Толстого, от имени главного героя) жизнь мальчика в его школьный период. Герой этой повести—нежный и мягкий по натуре—счастлив своими детскими грезами, упоенно глядит на природу и окружающую жизнь и уже полон размы-

[1]) Верно замечает Ал-ей Веселовский (Западное влияние в новой русской литературе», М. 1910, стр. 250), что «единственное новое, светлое явление среди наиболее тяжелой поры реакции,—художественный почин Л. Толстого,—стояло совершенно вне связи с современным движением, свободно было от влияния какой бы то ни было школы, не испытало никакого отражения социально чуткой проповеди Белинского, осталось чуждым и действию науки, шло независимым путем одинокого самородка, полным исканий, тревог, ошибок, откровений. Но и на нем сказалось определенное влияние западной мысли, именно мысли, а не творчества, потому что сборное, случайное, бессистемное чтение его юношеских лет, о котором говорят его записки, сберегшие и оценку вынесенных впечатлений, сливает в одно целое и Гоголя, и Стерна, и Диккенса, и женевца Рудольфа Тепфера» . . . .

шлений и мечтаний о настоящем и будущем. «Смеющиеся годы молодости», проводимые им в «безмятежном спокойствии», сделали его склонным к самоанализу, и он тщательно выискивает в себе и «тщеславие», и влюбленность, и взвинченную самолюбивость, развивающиеся на фоне общей впечатлительности и чувствительности.

Это все те черты, которые впоследствии рельефно были зарисованы и в «Детстве» Л. Толстого.

У героя повести Тепфера был «чудак» учитель г. Ратен. «Нельзя было не уважать его и в то же время нельзя было не смеяться над ним: честный, добрый человек и страшный педант, почтенный, серьезный и забавный вместе, он возбуждал во мне одинаково чувство уважения и насмешки» [1]). (Ср. Карла Ивановича в «Детстве»).

Этот учитель за мелкую ложь наказывает своего ученика карцером, чтобы тот «подумал» о своем проступке [2]), герой переживает самолюбивые муки, сменяющиеся в процессе борьбы с самим собою новыми радостями и т. д. Тепфер вникает во все мелочи жизни своего героя и вместе с ним вспоминает их, подобно Николеньке, со специфическим детским юмором: бородавка г. Ратена, физиономия дворника, запыленные книги дядюшки—все это возбуждает повышенный интерес у нашего юного героя. И обо всем прошедшем он думает с тоскою и сантиментальным сокрушением: «О, таинственные минуты! Минуты усладительного спокойствия, в которые осуществились для меня мои ночные грезы» и т. д.

И в «Библиотеке» и в »Детстве»—налицо родственные друг другу манеры писания, которые могут свидетельствовать о том, что Л. Толстой «приглядывался» и к Тепферу и действительно мог считать его одним из своих вдохновителей в первую пору своей творческой работы.

Все, что сказал сам Л. Толстой по поводу своих увлечений Диккенсом и другими западными авторами—должно почитаться нами, как непреложный факт в истории его литературной деятельности. Это не какой-нибудь «отвод» глаз критики, на кото-

---

[1]) «Отечественные Записки , 1848 г., т. XI, отд. VIII, стр. 6.

[2]) Там же, стр. 10.

рый не был способен автор «Детства», избегавший самого малейшего уклонения от правды. И наши сравнения страниц Л. Толстого [1]) дают несомненно определенный материал, по которому можно судить о степени литературной связи автора «Детства» с вышеназванными писателями [2]). Первые литературные opus'ы Л. Толстого написаны под «действием» именно этих авторов, и среди них имя Диккенса должно стоять на одном из главных мест.

Ник. Апостолов.

[1]) Со страницами Ч. Диккенса, Стерна, Тепфера . . .

[2]) Характерно, что через 10 приблизительно лет после написания „Детства" Л. Толстой, просматривая черновики своего романа (к сожалению почти не сохранившегося) „От'езжее поле" (1856—1857), сближал его с „Записками Пиквикского клуба" Диккенса („Вестн. лит.", 1920, № 11. Ст. В. Срензевского „Наследство Толстого", стр. 3).

Библиография.

Из материалов толстовского семинария.

Теоретик толстовской библиографии А. Л. Бем свой обстоятельный обзор предшествующих (до 1915 г.) библиографических работ о Толстом заключил «мыслью о необходимости сужения об'ема включаемого (сюда) материала... Проследить по возможности полнее и детальнее, исходя от оригиналов и отмечая содержание, литературу за один год, представляется более достижимым даже для одного лица; если при этом ограничить себя просмотром определенных периодических изданий, не говоря об отдельных изданиях, которые должны быть включены по возможности все, то ценность такой работы имеет непреходящее значение. Мы выигрываем при таком обзоре в полноте, точности и детальности и можем быть уверены, что кладем этим путем прочную основу будущей полной библиографии» [1]).

Составленные под руководством А. Л. Бема частичные библиографические перечни [2]), как известно, являются лучшими работами в этой области толстоведения. Однако, и они, главным образом, в виду «валовой» (вперемежку—и отдельные издания и журнальные статьи) регистрации—неполны (ср., наприм., ниже—пропущенные №№ 24, 26).

Это побудило еще более ограничить материал для библиографического ряда, предложенного мною в мин. акад. году участникам (студентам литерат. отд. Одесск. Высшего Инст. Нар. Обр.) кружка по изучению Толстого—для коллективной разработки: «Толстовские материалы в периодических изданиях».

Именно periodica менее всего в этом направлении обследована, ибо толстовская библиография никогда доселе не занималась ею специально. И не говоря уже о пробелах по существу,

[1]) „К истории изучения Толстого“. Петрогр., 1916, стр. 42.

[2]) „Толстовская библиография“ за 1912 год („Толстовский Ежегодник 1913 года“. С. П. Б. 1914, отд. V, стр. 41—104 и отдельно: СПБ. 1914) и за 1913 год—Петрогр., 1915.

здесь—много хронологических зияний: в старой работе Юр. Битовта («Гр. Л. Толстой в литературе и искусстве», М. 1903) регистрация обрывается на 1902 г.; В. П. Ierманайнен («Изв. Общ. Толст. Музея», 1911 г., № 1—5) отметил один лишь отчетный (1911-ый) год; наконец, вышеупомянутые сводки, под редакц. А. Л. Бема, охватывают еще два года (1912 и 1913),—и только[1]). Таким образом, систематическая ревизия по журналам,—с непременным условием de visu, страница за страницей — очередная задача в толстоведении.

И нижеследующий указатель студ. Ц. Е. Местецкой «Толстовские материалы в «Вестнике Европы» 1903—1917 гг.»[2])—первый кирпичик в этом длинном библиографическом своде; ибо, если и можно посетовать на недостаточность в указателе «внутреннего» описания, то в смысле полноты он—безупречен.

В целях достижения, наконец, единообразия и в виду действительной ее целесообразности—в указателе сохранена, в крупных подразделениях, систематика, предложенная А. Л. Бемом.

С. М. Брейтбург.

1923.

---

[1]) Неполный указатель журнальных статей Н. А. Ульянова не только не систематизирует, но даже не выделяет толст. матер. специально.

[2]) Начальная граница данного указателя обусловлена конечной датой у Ю. Битовта, регистрация которого, несомненно, также подлежит новому пересмотру.

Толстовские материалы в „Вестнике Европы“ 1903—1917 г.г.

(Сост. Ц. Е. Местецкая).

I. ТОЛСТОЙ.

1. Писания.

1. Два брата и золото. (Подпись к лубочной картине). [1915/II, № 4, 12].

Дата: 5/IV—1885 г. Одна из первоначальных редакций; перепечатана с копии с поправками Толстого.

2. Отрывок из дневника. [1915/IV, 10—11].

Дата 6/I—1903 г.

3. Предисловие к рассказу В. С. Морозова: «За одно слово». [1908/VIII, 599].

Дата: 18/VII—1908 г.

4. Три дня в деревне. (Первый день: „Бродячие люди“. Второй день: „Живущие и умирающие“. Третий день: „Подати“. [1910/IX, 3—21].

Заметка от редакции (стр. 21-22) сжато излагает окончание „Трех дней“, кот. не могло появиться в России по цензурным условиям. Перед титульным листом вклеен ярлык с уведомлением, что „редакция ускорила вых. сент. книжки журн., чтобы предупредить появление в русской печати переводов с перевода (выходящего в начале сент. н. ст. в Англии) „Трех дней“.

2. Переписка.

5. Из переписки Л. Н. Толстого: Письма к князю С. С. Урусову. (1869—1889). [1915/I, 5—19].

Даты: (1869—70); лето (1870); 25/XI (1870); (1870. конец года); (1871, два письма); (1876); 21/II—(1876); (1878); (30/V—1878, Тула); (1879, конец декабря); (IV—1889); idem; открытка—п. шт. М. 15/IV 1889.

6. Письма к князю Л. Д. Урусову (1885). [1915/II, 5—23].

Даты: п. шт. М. 19/I—85; получ. 28/II—85; (Бахчисарай 21/III—85); после 5/IV—85; М. 12/IV—85; пол. 20/IV 85; пол. 6/V—85; пол. 27/V—85; п. шт. 11/VI—85; 19/VI—85; п. шт. 5/VII—85; п. шт. 14/VII—85; пол. 22/VII—85; 22/VIII—85.

7. Письма к Г. А. Русанову. (1885—1906). [1915/III (5—31), IV (5—21)].

Даты: п. шт. М. 25/III—85; п. шт. М. 4/IV—85; п. шт. 5/VII—85; п. шт. М. 15/III—86; п. шт. М. 21/III—86; п. шт. 10/XI—86; 2/IV—(87), Я. П.; 15/VIII—(87); п. шт. М. 1/III—88; п. шт. 29/VI—88; п. шт. М. 14/III—89; п. шт. Тула, 19/VI—89; п. шт. 28/IV—90 Вор.; п. шт. Тула, 4/VII—90; п. шт. 17/XI—90; пол. 20/XII—90; п. шт. 3/IV—91; п. шт. 8/X—91; п. шт. 12/III—92; п. шт. Т., 1/VI—92; п. шт. М. 4/XII—93; п. шт. М. 29/IV—94 (рукой П. И. Бирюкова, подпись—Л. Н.); п. шт. 3/XI—94; п. шт. М. 2/II—95; п. шт. М. 10/III—95; 16/I—(96); п. шт. 3/IX—97; Я. П. 15/XI—97; пол. 23/I—

98; пол. 17/IV—98; пол. 26/VIII—98; 27/V—1900; 1/VIII—900; 25/VIII—900; п. шт. 6/IX—901; 17/I—902; 11/IX—902; 21/XII—902 Я. П. (рук. М. Л. Оболенской, подпись Л. Н.); 16/I—03 (рук. Н. Л. Оболенского, подпись Л. Н.); пол. 14/II—903 (рук. М. Л. Оболенской, подпись Л. Н.); 28/XI—903; 14/VIII—904; 24/IX—904; 19/XII—904; п. шт. Тула, 25/IV—905; п. шт. Зас. 17/VIII—905; 6/IX—905; п. шт. 19/XI—905; 18/II—906; 12/III—(906); (23)/VII—906.

№№ 5—7 снабжены вступительными заметками об адресатах и примечаниями А. Е. Грузинского.

8. Пругавин, А. С. Письма и записочки Л. Н. Толстого (I На почве сектантства, II В голодовку в 1899, III Из позднейших писем). [1911/II, 270—285].

Даты: 1)—весна 1885; около 1/2 80 г.г.; без даты; II) 2/III—99; 1/V—99; 29/V; 9/VI; id.; 17/VI; 19/VI; 10/III; без даты; 12/IX—1902; без даты, по поручению Л. Н-ча, рукой М. Л. Оболенской; 27/XI—903; 3/III—906.

9. Письмо редактору „Вестника Европы". [1908/IX, 64].

Дата: 23/VI—1908. Напечатано в виде предисловия к рассказу Л. Д. Семенова: „Смертная казнь".

10. Письмо в столичные и провинциальные газеты. [1908/XII, 833].

Дата: 4/XI—1908. Толстой уведомляет, что, в виду отказа от собственности и безвыездного пребывания в деревне, он не в состоянии помогать тем, кто обращается к нему за материальной помощью или протекцией.

11.—Извещение. [1911/XI, 436].

„В пользу голодающих продаются 22 письма-автографа Л. Н. Толстого по 50 руб. за письмо. В вырученной сумме будет дан отчет в печати. Просят другие журналы и газеты перепечатать. Адрес: Почт. отд. Береговое, Черноморской губ., И. Ф. Наживину".

*12. Адрианов, С. Критические наброски. [1913/X; 364—368] *).

О письмах Толстого к жене.

*13. А[дрианов], С. Толстовский Музей, Т. II. Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым (1870—1894). С пред. и прим. Б. Л. Модзалевского. СПБ. 1914). [1914/VI, 422].

*14. В[етрин]ский, Ч. Жизнепонимание Л. Н. Толстого. В письмах его секретаря В. Ф. Булгакова. (Библ. Л. Толстого. Под ред. Бирюкова, № 2, М. 1911). [1911/III, 355—356].

*15. В[етрин]ский, Ч. Новый сборник писем Л. Н. Толстого. Собр. П. А. Сергеенко. Под ред. А. Е. Грузинского. Книгоизд. „Окто". М. 1912. [1912/V, 384—385].

*16. В[етрин]ский, Ч. Письма Л. Н. Толстого (1848—1910). Собр. и ред. П. Н. (sic) Сергеенко. Т. I. М. 1910. [1911/I, 347—350].

*17. В[етрин]ский, Ч. Письма Л. Н. Толстого (1855—1910). Собр. и ред. П. А. Сергеенко. Т. II. М. 1911. [1911/VIII, 399—403].

*18. В[етрин]ский, Ч. Письма Л. Н. Толстого к жене. (1862—1910). Изд. II-е., испр. и доплн. М. 1915. [1916/II, 402—405].

*19. В[етринск]ий, Ч. Толстовский Музей. Т. I. Переписка Л. Н. Толстого с граф. А. А. Толстой (1857—1903). СПБ. 1911. [1912/II, 364—368].

См. еще №№ 27, 44, 79.

---

*) В указателе зарегистрированы и рецензии, как необходимый материал, напр., для историографических исследований; они размещены по соответствующим их содержанию рубрикам и отмечены звездочкой у №-ра.

II. О ТОЛСТОМ.

1. Работы общего характера.

*20. В[етрин]ский, Ч. В. Вересаев. „Живая жизнь“, ч. I—О Достоевском и Льве Толстом. М. 1911. [1911/V, 378—382).

*21. В[етрин]ский, Ч. Л. Н. Толстой. Биография, характеристики, воспоминания. (Жизнь, личность, творчество). Сборник статей. Изд. Т-ва „Образование“. М. 1910. [1910/X, 415—416].

*22. Королицкий, М. Л. Н. Толстой. Памятники творчества и жизни. I. Изд. „Огни“, Петрогр. 1917. [1917, VII—VIII, 426—428].

*23. П[ыпин], А. Евгений Цабель. Гр. Л. Н. Толстой. Литературно-биографический очерк (с 4-мя портретами в разные периоды жизни). Пер. с немецк. Влад. Григоровича. Киев, 1903. [1903/VIII, 803—807].

2. Жизнь.

(Биографические сведения и материалы. Мемуары.)

*24.—Два года с Л. Н. Толстым. Записки бывш. секретаря Толстого Н. Н. Гусева. Изд. „Посредника“, вход. в „Всемирн. Библ. в память Л. Н. Толстого“. М. 1912. [1912, IV библиогр. лист].

*25.—И. Н. Захарьин (Якунин). Встречи и воспоминания. СПБ. 1903. [1903/V, библиограф. листок].

*26.—Л. Толстой и голод. Сборник под редакц. Ч. Ветринского. Нижн.-Новгород, 1912. [1912/IV, библиограф. лист.].

27. Бертенсон, Л. Б. Страничка к воспоминаниям о Л. Н. Толстом. [1911/I, 92—101].

Приведены письма: 1) Л. Н. Толстого к Бертенсону от 3/III—1902; 2) С. А. Толстой к П. А. Буланже от [14/I—1902]; 3) Буланже—Бертенсону от 14/I—1902 г.

*28. В[етрин]ский, Ч. В. А. Маклаков. Лев Николаевич Толстой, как общественный деятель. М. 1912. [1913/I, 380—383].

*29. В[етрин]ский, Ч. Давыдов, Н. В. Из прошлого. [1914/I, 409—410].

О Толстом—у Давыдова: стр. 251—317.

*30. В[етрин]ский, Ч. Последние дни Л. Н. Толстого. СПБ. Книгоизд. „Воскресенье“. [1911/II, 390—391].

*31. В[етрин]ский, Ч. Ромен Роллан. Жизнь Толстого. Перевод с франц. Е. Гольденберга. Петроград, изд. М. Семенова. [1915/IX, 394—399].

*32. В[етрин]ский, Ч. Спиро. Беседы с Л. Н. Толстым (1909—1910). М. 1911. [1911/Ш, 355—356].

*33. В[етрин]ский, Ч. С. Т. Семенов. Воспоминания о Л. Н. Толстом. СПБ. 1912. [1913/I, 380—383].

*34. В[етрин]ский, Ч. У Л. Н. Толстого в последний год его жизни. Дневник В. Ф. Булгакова. («Библиот. Л. Н. Толстого под

ред. П. И. Бирюкова», № 4) М. 1911. [1911/VIII, 399—403].

35. Геника, Е. А. Л. Н. Толстой и душевнобольные. [1911/VI, 181—199].

Воспоминания относятся к лету 1910 года.

36. Захарьин (Якунин), Ив. Н. „Графиня Александра Андреевна Толстая. Личные впечатления и воспоминания. Посвящается памяти покойной". [1904/VI, 441—465].

Дата написания: 20/IV—1904. Приведены отрывки из нескольких писем Толстого к А. А., ныне утратившие, однако, за полным изданием их переписки, значение первоисточника.

*37. Ляцкий, Е. А. Вопросы жизни и творчества Л. Н. Толстого. По поводу „Биографии Л. Н. Толстого" г. Бирюкова (т. I, СПБ. 1906) и „Полн. собр. соч. Л. Толстого, вышедшее заграницей". (Т. I, СПБ. 1906). [1906/XII, 755—782].

*38. Набоков, В. Второй том книги А. Ф. Кони: „На жизненном пути". [1913 I, 290—302].

О Толстом: стр. 292—294.

39. Никифоров, Л. Из воспоминаний о Вл. Серг. Соловьеве. [1913/XI, 140—148].

*40. П[ыпин], А. И. Н. Захарьин (Якунин). Встречи и воспоминания. Из литературного и военного мира. СПБ. 1903. [1903/VIII, 807—808].

41. Семенов, Сергей. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. [1908/IX, 7—63].

*42. Слонимский, Л. Две книги о Льве Толстом. I. Aylmer Maude. „The life of Tolstoy. Later years". London, 1910. [1911/II, 371—379].

Ср. № 86.

43. Сухотина-Толстая, Т. Л. Друзья и гости Ясной-Поляны. По личным воспоминаниям. I—Николай Николаевич Ге. [1904/XI, 5—35].

Дата записи: с. Кочеты, 7/IX—1904. См. еще №№ 8, 51.

3. Личность.

Влияние личности Толстого. Отношение к нему современников.

44. Семенов, Сергей. Л. Н. Толстой и крестьянство. [1909/VI, 769—776].

Сообщение, читанное в Москве на торж. заседании О-ва Любит. Росс. Слов. в честь Л. Толстого, 5/XII, 1908.

Приведено письмо Толстого к Семенову.

45. С[лонимский], Л. Заграничная печать о Толстом. [1911/I, 409—413].

Т. и офиц. Россия.

46.—Из курьезов губернаторской литературы. [1911/VIII, 432—433].

О столкновении тверск. губернатора (Бюнтинга) с Бежецк. Думой, постановившей назвать одну из улиц города именем Толстого, учредить стипендию его имени в реальн. училище и пр.

47. — Кто от кого оказался изолированным в дни болезни, смерти и погребения Толстого?—

Последние слова великого покойника. [1910/XII, 436—439].

Отказ правосл. церкви служить панихиды по Толстом.

48. —Траурные дни по смерти Л. Н. Толстого. Попытки протеста против смертной казни.—Духовенство и администрация в толстовские дни. [1911/I, 402—407].

См. еще № 50, 53.

49.—Чрезвычайная охрана и смертные казни. [1908IVIII, 748—750, 810—819].

Между прочим—„Новое Время" о „Не могу молчать".

Толстовство.

50. —Высылка Н. Н. Гусева. [1909/IX, 348—349].

51. М[ихайл]ов, А. В „толстовской" колонии. По личным воспоминаниям. [1908/IX (101—139); X (447—489)].

52. Чертков, Влад. Страница из воспоминаний. Дежурство в военных госпиталях. [1909/XI, 141—161].

См. еще № 8.

Отклики на памятные даты.

53. —К юбилею Л. Н. Толстого. [1908--IX, 426—431].

54.—Предстоящее 80-тие со дня рождения Л. Н. Толстого. [1908/IV, 867—8].

55. Арсеньев, К. Л. Н. Толстой. 1828—1908. [1908/IX, 330—340].

56. Жемчужников, А. М. Льву Николаевичу Толстому. На 28-ое августа 1908 г. [1908/IX, 5—6].

Стихотворение.

57. Овсянико-Куликовский, Д. Н. Памяти Л. Н. Толстого. [1910/XII, стр. III—VII].

*58. П[ыпин], А. „К 75-тилетию гр. Л. Н. Толстого. 1828—28 августа—1903. Гр. Л. Н. Толстой, как писатель всемирный и распространение его произведений в России и за-границей" и т. д. Сост. П. Д. Драганов, помощник библиотекаря Публичн. Библиотеки. СПБ. 1903. [1903/X, 815—819].

См. еще № 60.

Толстовские общества и другие виды увековечения памяти Толстого.

59.—Детский Народный Дом им. Л. Н. Толстого. [1911/V, 436—438].

Инициаторы-слушательницы Педаг. Курсов при Фребелевск. О-ве в Петербурге.

60. —С'езд печати. [1908/VIII, 821—824].

*61. —Толстовский Ежегодник 1912 г. М. 1912. [1913/I, 380—383].

62. Богучарский, В. Я. Культурно-Национальное дело (Дом-Музей имени Л. Н. Толстого в Петербурге). [1909/IX, 357—365].

*63. В[етрин]скийЧ. Срезневский, В. И. и Тукалевский, В. Н. „Толстовский Музей в С-Петерб. I. Описание музея". СПБ. 1912. [1913/I, 380—388].

64. От Редакции. [1910/X, 443].

О сумме, собранной Редакцией и переданной А. Л. Толстой.

65. Толстая, А. Л. Письмо к Редактору „Вестника Европы". [1911/V, 434—436].

Ответ на № 64.

См. еще № 46.

4. Творчество.

А) ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО.

Труды общего характера.

66. Адрианов, С. Критические наброски. [1912/IV, 354—364].

О „Хаджи Мурате“, „Посмертных Записках Федора Кузьмича“, сборнике „О религии Льва Толстого“.

67. Батюшков, Ф. Шекспир и Толстой. (К 300-тию со дня смерти Шекспира). [1916/V, 33—45].

*68. В. В. Д. Н. Овсянико-Куликовский. „Толстой, как художник“. Изд. II-е, испр. и доп. СПБ. 1905. [1905, XI, 401—406].

*69. В[етрин]ский, Ч. Леонид [Петр.] Семенов. „Лермонтов и Толстой. (К 100-тию со дня рождения Лермонтова“). [1914/IV, 381—382].

70. Овсянико - Куликовский, Д. Н. Заметки о Толстом. I.—Иллюзия и страхи. II.—Без заминки. III.—Паутина любви. IV.—Жили были. [1915/I, (20—26), II (24—30), III (32—41) IV (22—27)].

*71. Райнов, Т. Д. Н. Овсянико-Куликовский. Собр. соч., т. 3. Л. Н. Толстой. СПБ. 1909. [1911/II, 397—398].

Формальная критика.

*72. В[етрин]ский, Ч. К. Леонтьев. О романах Л. Н. Толстого. М. 1911. [1911/VIII, 399—403].

*73. В[етрин]ский, Ч. Война и Мир. Памяти Л. Н. Толстого. Сборн. под редакц. В. П. Обнинского и Т. И. Полнера. М. 1912. Изд. „Задруга“. [1913/VII, 378—380].

Война и мир.

*74. В[етрин]ский, Ч. Л. Н. Толстой. „Война и Мир“. Под редакц. и с примечаниями П. И. Бирюкова. М. 1912. [1912/XII, 397—398].

См. еще № 73.

Хаджи Мурат.

*75. Л[ернер], Н. Гр. Л. Н. Толстой. „Хаджи-Мурат“. Роман. С рисунками художника А. П. Сафонова. СПБ. 1912. [1913/IV, 435].

См. еще № 66.

Б) РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЕ ТВОРЧЕСТВО.

*76.—Генри Джордж. Покровительство отечественной промышленности или свобода торговли. Исследование тарифного вопроса. Пер. с английского С. Д. Николаева. Изд. „Посредника“. М. 1903. [1903/IX, библиогр. лист].

77.—Лев Толстой и его „Не могу молчать“. [1908/VIII, 810—816].

78.—Л. Н. Толстой об убийствах. [1907/X, 878—879].

По поводу стат. Толстого: „Не убий никого“, появившейся в печати 8/IX—907, одновременно в России и за границей.

*79. А[рсеньев], К. И. Галант. Черта еврейской оседлости. (С письмом Л. Н.

Толстого). II-ое изд. М. 1915. [1915/V, 444].

Дата письма: „за два месяца до смерти".

*80. В. В. Н. Тимковский. „Душа Толстого". М. [1914/I, 466].

*81. В[етрин]ский, Ч. Дневник Л. Н. Толстого. Под редакцией В. Г. Черткова, т. I. (1895—1899). М. 1916. [1916/IV, 326—328].

*82. В[етрин]ский, Ч. М. Алданов. „Толстой и Роллан"; т. I. Петрогр. 1915. [1915/VII, 423].

83. Дивильковский, А. Толстой и Руссо. [1912, VI (59—79), VII (125—153)].

Содерж.: 1. Т.—ученик Руссо. 2. Отклонение ученика от учителя. 3. Происхождение и причины несогласия между учеником и учителем. 4. Руссо и Толстой под углом зрения истории.

84. Кульбакин, С. Петр Хельчицкий. Чешский Толстой XV-го столетия. (По поводу 500-летия Кутногорского декрета). [1909/XI, 49—76].

*85. Ляцкий, Е. Генри Джордж. Общественные задачи. Пер. с английского С. Д. Николаева. С предисловием Л. Н. Толстого. М. 1907. Изд. „Посредника". [1907/II, 824—826].

Большая часть рецензии посвящена предисловию Толстого.

*86. Слонимский, Л. Две книги о Льве Толстом: II.—А. А. Исаев. „Граф Л. Н. Толстой, как мыслитель". СПБ. 1911. [1911/II, 371—379].

Ср. № 42.

*87. С[лонимский], Л. Исаев, А. „Толстой среди мудрецов". СПБ. 1913. [1913/V, 438].

88. Юшкевич, П. Религиозные искания Л. Н. Толстого. [1911/III, 260—280].

III. БИБЛИОГРАФИЯ.

*89. В[етрин]ский, Ч. Б. С. Боднарский. Библиография произведений Толстого. М. 1910. [1911/III, 355—356].

*90. П[ыпин], А. Гр. Л. Н. Толстой в литературе и искусстве. Подробный библиографический указатель русской и иностранной литературы о графе Л. Н. Толстом. Со многими портретами Толстого. Сост. Юрий Битовт. М. 1903. [1903/VI, 776—779].

См. еще №№ 58.

IV. ИКОНОГРАФИЯ.

91.—„Лев Николаевич Толстой". 1910/XII.

Портрет, воспроизведенный с акварели акад. живописи Л. О. Пастернака.

*92. Ветринский, Ч. Ясная Поляна. Жизнь Толстого. Альбом, исполненный фототинтогравюрой. [1911/II, 390—391].

*93. Л[яцкий], Е. Граф Л. Н. Толстой. Великий писатель русской земли. Его жизнь. Семья. Друзья. Критики и толкователи. В портретах, скульптуре, карикатурах и т. д. Изд. Т-ва М. О. Вольф. Вып. I. СПБ. 1903. [1903/X, 819—820].

См. еще № 90.

Перечень имен и названий.

(К библиографическому указателю *).

*) Цифра обозначает № статьи.

УКАЗАТЕЛЬ*)

(Цифры означают страницы).

Имена личные, географические названия, названия произведений, не принадлежащих Л. Н. Толстому.

---

*) К **библиографии**—см. специальный указатель на стр. 136—137.

Произведения Л. Н. Толстого.

А. Произведения.

Б. Письма.

(В хронологическом порядке).






30


D03698952%
Duke University Libraries